



Рихард Рейн
Полевой центр Пламя
Каторга и ссылка

12+

**Рихард Петрович Рейн
Алексеев Олег Иванович
Полевой центр Пламя.
Каторга и ссылка**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=62781308

SelfPub; 2020

Аннотация

Книга написана активным участником Первой русской революции – революции 1905 года в России. События первой части, касаются именно революционных событий, то есть попытки свержения существующей власти на задворках Великой российской империи – в Латвии. Небольшая группа революционеров, захватывает на непродолжительное время власть в небольшом городке Руен и его окрестностях. Во второй части, после подавления мятежа, герой повествования попадает на каторгу, а отбыв там половину своего срока, в ссылку, в далёкую сибирскую деревню. Книга эта, возможно, будет интересна тем, кто увлекается историей России, интересна тем, что автор точно не приукрашивая и не принижая описывает события и быт вековой давности, условия содержания на царской каторги и в ссылке.

Предисловие

Писать воспоминания о восстании 1905 года и последующих реакционных годах или хотя бы об отдельных моментах этого движения, не имея под рукой соответствующих необходимых справок, писать спустя двадцать лет, является делом чрезмерно тяжелым; тем не менее я решил, насколько позволяет память, об этом написать.

Поступить так побудило меня то обстоятельство, что, разыскивая в продолжение более двух лет по всем архивам дело свое и моих сопроцессников, я убедился, что это чрезвычайно трудно, ибо оказывается, что дела бывшей Шлиссельбургской каторги, Бутырок и бывшего тюремного управления сожжены, и если что-либо где и имеется, то никакими усилиями ничего не найдешь.

В результате всех поисков и переписки мне посчастливилось недавно через Латсекцию Коминтерна раздобыть копию заключения бывшего военно-прокурорского надзора петербургского военно-окружного суда по делу о вооруженном восстании в посаде Руен и его окрестностях в 1905 году и, кроме того, из Латвии—фотографический снимок одного из моментов этого восстания. Имея эту копию в качестве материала для частичного хотя бы описания восстания 1905 г., я думаю, что мои беглые воспоминания об этом восстании окажутся не бесполезными для молодого поколения, а, может-быть, даже и для историка, и поэтому, я надеюсь, что читатель мне простит возможные и невольно допущенные в

этих воспоминаниях погрешности.

Полевой центр пламя

Посвящается смене—комсомольцам и пионерам.

Это случилось тогда, когда, по статистическим сведениям, Лифляндской и Курляндской промышленных инспекций, в Лифляндии промышленных предприятий насчитывалось 372, где было занято 60.507 рабочих, а в Курляндии 159 промышленных предприятий с 14.095 рабочими, не считая предприятий и рабочих, находившихся вне ведения фабричных инспекций.

Это случилось тогда, когда помещичье – баронской земли по одной Лифляндской губернии числилось около 1.800.000 десятин, а крестьянской – лишь 1.121.269 десятин, к этому нужно еще прибавить и церковные (пасторские) земли, которые занимали немалое место в общем земельном фонде, вследствие чего оказалось, что в пользовании прибалтийского крестьянина находилось всего 39% всего земельного фонда Лифляндии. Такая же картина наблюдалась и в Курляндии и Эстляндии.

Кроме того, почти все леса находились во владении помещиков, за исключением небольших лесных площадей, находившихся в ведении государства.

Помещикам принадлежало право открывать корчмы (пивные), пивоваренные и винокуренные заводы, а также

право на охоту и рыбную ловлю, тогда как все повинности были возложены на крестьян; в частности, дорожные повинности, по «скромным» подсчетам бывшего Лифляндского губернатора Зиновьева, исчислялись по одной только Лифляндской губернии в 400.000 рубля в год, а Земцев, основываясь на данных сенатора Манасеина, определил эту сумму в 1.106.393 рублей. Правда, «милостивые» бароны-помещики отпускали для нужд дорог материалы, но они, по показаниям того же «милостивого» губернатора Земцева, определялись в денежном исчислении в 15.192 рублей в год.

Помимо этого, средний волостной бюджет по Лифляндии равнялся около 1500000 рублей в год, каковая сумма покрывалась, главным образом, за счет так-называемого «головного» налога, собираемого с каждого мужчины, достигшего 16-летнего возраста, причём, в большем размере с батраков и рабочих, не считаясь ни с их заработком, ни с материальным положением их семей.

Пишущий эти строки, состоя учеником типографии и получая лишь 10 рублей в год на хозяйских харчах, уже на шестнадцатом году от роду платил 4 рубля 80 копеек этого налога в год, а на семнадцатом году, получая те же 10 руб. в год, платил 7 рублей 20 копеек.

Нужно заметить, что отсрочек платежа бедняку не допускалось, и на его заработок накладывался арест, тогда как крупные хуторяне, имея от 40 до 50 и больше десятин земли, подчас не платили этого налога по 2-5 и даже больше лет, по-

сле чего «каким-то способом» с них списывали уплату этого налога «по несостоятельности» и прочее.

Если ко всему сказанному еще прибавить, что, помимо всяких «законных» и «незаконных» налогов, сборов и повинностей со стороны царского правительства и его агентов баронов- помещиков, еще немало повинностей и сборов прибалтийский батрак и рабочий, а также и крестьянин (серый барон) несли по обслуживанию церковнослужителей-пасторов, то картина наигнуснейшей эксплуатации трудового народа в Прибалтике будет ясна. Эти повинности, сборы и налоги в пользу духовенства выражались в следующем: еще с феодальных времен латышский крестьянин регулярно должен был отчислять от своего урожая так-называемые «сецин» (Seezin), что составляло с каждого хуторянина, в зерновом отчислении (с ржи, ячменя, гречихи и прочее), от 27 до 30 фунтов с каждого вида зерна; в общем и целом ни один из этих духовных отцов не производил «околпачивания» народа, играя на его несознательности, дешевле трех тысяч рублей «чистоганом» в год; имелись и такие приходы, где духовные отцы зарабатывали до 10 тыс. руб. и больше в год и, накопив свои «маленькие» сбережения в течение 3-5 лет, покупали имение ценою от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, крестьянин обязан был обрабатывать землю своего «духовного отца», строить необходимые ему постройки и прочее; однако, все это и отчисления, о которых я говорил выше, не освобождали крестьянина от отчислений яйцами,

птицей и тому подобным.

Независимо от этого, «все грехи» отпускались духовными отцами за определенную плату. Если иногда и списывались долги за молитвы «за упокой», «во здравие» и прочее, то «грехи» за неуплату причитающихся отчислений духовному отцу никогда не прощались; так что иногда покойник простаивал на кладбище у могилы по нескольку часов в ожидании, пока духовный отец сторгуется с родными покойного об оплате за «труд» и о «сроке» уплаты просроченных им платежей.

Случалось, что бедняку нечем было платить, и он принужден был бегать по своим знакомым – лишь бы набрать 2-3 рубля, чтобы заплатить пастору и иметь возможность зарыть в землю покойника.

Все эти проявления бесшабашной эксплуатации латышского крестьянина, батрака и рабочего привели к тому, что против ожиданий и чаяний буржуазии и помещиков всей России, лавирующих и выбирающих в царских палатах между «диктаторством Трепова» и хитростным манифестом 17-го октября графа Витте – прибалтийский крестьянин, батрак и рабочий, не выдержав долее этой эксплуатации, поднял знамя открытого восстания против своих поработителей.

Об этом в конце 1905 и в начале 1906 годов прибалтийские бароны и их покорные слуги – редакторы реакционных газет с ненавистью писали: «...Мы надеемся, что латышам будет отведено почетное место в русской революции...».

Отводимое «почетное место» латышам в русской революции, конечно, понималось и проводилось в жизнь виселицами, ссылками, каторжными работами, поркой, расстрелами «по суду и без суда» и прочими мерами, предпринимаемыми царскими слугами, «ради обезвреживания» социалистических настроений. Воспоминаниями об одном из этих отведенных нам, латышам, почетных мест я и желаю поделиться с читателями.

Дело происходило в местечке Руен и его окрестностях, Лифляндской губернии, Вольмаркского уезда.

Еще задолго до царского «милостивого» манифеста 17-го октября 1905 года, сфабрикованного графом Витте,—а именно в период 1902-1903 годов, в наши районы стали проникать слухи о каких-то «социалистах», листовках, прокламациях, воззваниях и прочее; одни говорили, что социалисты хотят помочь рабочим и крестьянам улучшить их материальное положение, другие называли их безбожниками, грабителями, стремящимися не то свергнуть, не то убить царя; говорилось все это как-то втайне, с глазу на глаз, но все же распространялось.

Подчас муж с женой, с опаской говоря об этих слухах и посматривая —одни на свое «барахло», а другие на свои сбережения, одни вздыхая, что всё отнимут, другие внутренне радуясь, что нечего отнять, а может быть дадут, — старательно стремились избегать присутствия детей при этих разговорах, особенно детей старшего возраста, — мол, разболтают,

да горя наживут на все семейство.

Чем больше в таких случаях секретничали, тем сильнее рос интерес к этому у детей, и последние, проделывая головоломные штуки, ухитрялись все это подслушивать, передавали затем своим приятелям, обсуждали сообща и, накормленные со школьной скамьи всевозможными «лубками», вроде «Предводителя бандитов Ренальдо-Ренальдини», сейчас же строили свои планы всяк по-своему: кто сейчас же хотел быть командором этих социалистов, громить всё, что надо, а кто и громить самих социалистов-безбожников, обижающих царя, и тому подобное, – словом, рассуждали, кто во что горазд.

Как-то в конце осени 1903 года, когда эти слухи уже почти было притихли, вдруг в наше местечко нагрянуло несколько человек жандармов и произвели кое у кого тщательные обыски, но, никого и ничего не забрав, уехали. Снова поднялись разговоры о социалистах, о листках; а тут как раз и оказалось, что кто-то что-то нашел, читал, видел и доставил в полицию. Власть, в свою очередь, как-то особенно насторожилась, и полицейские, по вечерам и ночам прогуливаясь по местам скопления публики, таинственно между собой переглядывались, а иногда и перешептывались.

Мы, молодежь, решили, что во всех этих слухах и разговорах «что-то есть»; мы, рабочая молодежь, как-то чутьем чувствовали, что «социалисты» – это друзья и защитники трудового народа и что наше дело их найти, помочь им; в чем

и как, – мы и сами себе не представляли, но почему-то нам казалось, что рабочие их знают, а через них и мы должны их найти и узнать. Мы стали искать, допытываться – особенно у фабричных рабочих. Нас отталкивали, подчас высмеивали, что, в свою очередь, еще больше нас раздражало, томило и, наконец, порождало злость и ругательства по поводу того, что нам не хотят сообщить, что нам не доверяют, а, может быть, и сами об них ничего не знают. Мы бранились, умоляли отдельных рабочих не считать нас предателями и познакомить с «социалистами». Все наши происки, однако, оказались безрезультатными.

Так прошла зима и весна 1903 —1904 годов, наступило лето. Проработав после школьной скамьи почти два года на конфетной фабрике в качестве мальчика, где я получал в первые месяцы по 5 копеек за 13-ти часовой рабочий день, а впоследствии по 1 рубль 50 копеек в неделю за тот же рабочий день, я поступил в 1902 году в типографию Шкинкиса учеником, все же не теряя, однако, связи с рабочими и работницами конфетной фабрики и имея с ними частые встречи и беседы. С открытием ножевой фабрики «Амор» я быстро познакомился и связался и с ее рабочими, среди них было много рабочих из города Риги.

Не помню точно, было ли это в начале или в конце мая 1904 года, но как-то раз, в праздничный день, гуляя в парке, я встретил одного из этих рижских рабочих ножевой фабрики, по фамилии, кажется, Саулит.

Поздоровавшись, мы пошли рядом, сначала разговор зашел о погоде, а затем, зная, что я страстный рыболов, мой спутник стал расспрашивать меня о моих успехах в этой области. Отвечая на вопросы и развивая свои соображения на этот счет, я вдруг инстинктивно почувствовал, что беседа о рыболовстве вовсе не та тема, на которую он собирается со мной говорить, и, очевидно, от мысли, что он хочет говорить именно о том, о чем я давно мечтал, то есть о «социалистах», жар пробежал по всему моему телу и я, кажется, очень покраснел, что, в свою очередь, вызвало некоторую тревогу на лице моего собеседника, и последний, взяв меня под руку и отведя в сторону, предложил присесть на травку «погреться» на солнышке.

Мы уселись, и он тотчас же завел разговор о мизерных заработках местных рабочих, о слишком продолжительном рабочем дне, о непристойном поведении духовенства и полиции, которых наша молодежь терпеть не могла, и говоря обо всем этом, он как-то испытующее поглядывал на меня, меня эти взгляды не особенно смущали, и я с нетерпением ждал, когда он заговорит о «социалистах». Как бы угадывая мою мысль, он перешел на разговор о том, что он слышал, что имеются организации, которые ведут борьбу со всеми этими ненормальными явлениями, стремясь устроить жизнь по-новому, что он лично хотел бы с ними познакомиться, но не знает как.

Я ему тут же ответил, что и у меня имеется такое стрем-

ление, но что все мои поиски в этом направлении остались безрезультатны. Тогда товарищ Саулит, пытливно посмотрев на меня, резко изменил разговор и спросил:

– А вы знаете, что делает полиция с социалистами-бунтарями?

И тут же прибавил:

– В тюрьмы сажает и вешает.

Хотя меня его странный тон и резкость несколько и поразили, но меня не удивило последнее заявление о тюрьмах, и виселицах, так как я, в общей массе слухов, достаточно об этом наслышался, и я ему, насколько было возможно при таком разговоре и в те времена, спокойно ответил:

– Что ж, я об этом слышал...

Мы несколько помолчали, после чего он снова спросил:

– А вы слышали о провокаторах?

Я ответил, что это слово мне незнакомо.

– А о предателях?..

Об этом слышал, но если вы думаете, что я способен быть предателем, то глубоко ошибаетесь, – возразил я, и окончательно не понимая такого тона разговора, встал.

Полулежа еще на траве, т. Саулит несколько насмешливым, спокойным тоном продолжал:

– Я вас таким, конечно, не считаю, но если бы вы и были бы способны на предательство, то вам некого было бы и предать, социалистов вы не знаете, и я тоже не социалист.

В ответ на это я, со всей ненавистью к нему и смотря ему

прямо в глаза, сказал:

– Следовательно, вы сами предатель, полицейский слуга и ищите кого предать!..

И с этими словами я собрался уже было уйти; но он, вскочив с места, взял меня крепко под руку и, направляясь вперед, сказал:

– Пойдем, я кое-что тебе покажу...

И по дороге через кладбище, улучив минуту, когда никого не оказалось поблизости, он сунул мне в руку какой-то свернутый клочок бумаги, сказав:

– Спрячь, никому не показывай и прочти.

И попрощавшись со мной, он ушел.

Горя нетерпением узнать, что это за сверточек, я направился домой. Зайдя в комнату, где со мной проживали отец и мать, и убедившись, что мои родители на месте и здесь мне делать нечего, я забрался в чулан, где, развернув этот таинственный сверточек, который оказался изданием (изрядно потрепанным) латвийской социал-демократической рабочей партии «Zihna» (Борьба), с жадностью стал его читать и перечитывать. Но, к сожалению, больше половины того, что читал, я не понимал, а то, что понял, рисовалось мне, – насколько об этом теперь, по истечении 20 лет, память позволяет судить, – в следующей формуле: «надо бороться за общее лучшее будущее». Но как – я себе все же не представлял... Возник и другой вопрос: что делать с газетой?.. Уничтожить – пожалуй, не следует; передать кому-либо из своих

товарищей – не имею права без разрешения тов. Саулит. В конце концов я решил сохранить ее и, тщательно завернув, спрятал сверток в чулане между крышей и одной из поддерживающих ее балок.

Я хотел в тот же день, вечером, повидаться с товарищем Саулит, но, к сожалению, не встретил его. Так прошло два дня, наконец, на третий день, вечером, узнав квартиру товарища Саулит и горя желанием получить еще что-либо подобное для чтения, я направился к нему. Отведя его в сторонку от домашних, я спросил, имеется ли у него еще что-нибудь вроде «Борьбы», одновременно предупредив его, что он может на меня вполне положиться. Ответив, что у него ничего более не имеется, он предложил мне отправиться, восвояси и ждать, пока я ему не понадобится. Я понял, что это, тоже относится и к вопросу об имеющемся у меня номере „Борьбы“.

Опять наступили часы и дни неизвестного ожидания и тревоги, и, нужно сказать, часы и дни долгие, кажущиеся годами...

Несколько времени спустя, как-то вечером после работы, ко мне подошел мой давнишний товарищ по работе на конфетной фабрике «Фортуна» – товарищ Лисиц, поздоровавшись и обменявшись разными мелочными вопросами и ответами на них, мы направились на старое кладбище, находящееся в центре местечка и расположенное рядом с парком (если вообще можно назвать парком клочок земли в центре

местечка, заросший редкой ивой и сосной – без всякой планировки).

Зная мою ненависть к духовенству, полиции, а также к предпринимателям и зная меня, по работе на конфетной фабрике, как надежного товарища, который не выдаст, он, напомнив мне о том, о чем я говорил с товарищем Саулит, и о прочитанной мною, «Zihna», сейчас же заявил, что он один из тех, кого я так долго искал и кто ведет борьбу со всеми замеченными мною в жизненном водовороте ненормальностями и с повсеместной эксплуатацией. В ответ на это я успел только воскликнуть:

– И ты до сих пор все это от меня скрывал!..

На это тов. Лисиц, улыбаясь, ответил:

– Ты еще слишком молод и поэтому необходимо было тебя проверить.

Однако, проверять было нечего, ибо я еще никаких поручений от партии, которую я так долго искал, не имел.

Оказалось, что товарищ Лисиц состоял членом латышской социал- демократической рабочей партии и что ему поручено вместе со мной организовать в местечке Руен кружки из рабочей молодежи, просвещать эти кружки, распространять листки (прокламации) и прочее. Согласившись с ним и заявив, что готов на все, я все же должен был сознаться, что пока что я еще и сам ничего не понимаю и не знаю и поэтому вряд ли сумею кого-либо просвещать; разбрасывать же в нашем районе прокламации и прочее, по моему мнению, при

известной осторожности, мне будет весьма нетрудно. На мои рассуждения тов. Лисиц ответил:

– Была бы охота и желание, а как организовать и как приступить к просвещению этой молодежи, я тебя для начала научу, а там дальше, читая и учась, ты сумеешь научить и других...

На прощание он добавил, что вообще вся эта работа должна вестись в условиях строжайшей конспирации и что видеться мне с ним впредь придется пореже и то – в условленных местах.

Нужно сказать, что его соображения были вполне правильны, так как к тому времени латышская молодежь почти никаким самообразованием не занималась; клубов не было, а если таковые и существовали, то лишь для зажиточно-интеллигентской части населения; газет и книг не читали, так как тех незначительных грошей, которые молодежь зарабатывала, нехватало и для уплаты налогов (поголовного), покупки одежды и пропитания.

Получив задание от товарища Лисиц, я немедленно приступил к работе и с того же дня стал организовывать кружок, привлекая в него знакомых мне подмастерьев-учеников и других надежных товарищей. Переговорив с десятком из них, в том числе и с Эдуардом Клявиным, со Строгисом и другими, мы создали кружок, о чем я сообщил товарищу Лисицу, последний, наметив день нашего первого заседания, просил назначить место собрания, обставив его соответству-

ющими предосторожностями. Тут же было решено устроить вечеринку, с пивом, с приглашением гармониста – начав ее часов в восемь вечера, чтобы закончить к двенадцати часам, после чего останутся лишь свои «ребята» на часок, в течение которого и можно будет провести наше первое собрание, на это собрание должен был прийти агитатор-организатор. В назначенный час и в условленном месте все были в сборе, в том числе также и приглашенные и подобранные на сей предмет знакомые нам девушки и гармонист.

Как мы ни стремились «распоясаться», то есть веселиться, все же это как-то не удавалось, ибо у каждого из нас, мужчин, было желание поскорее покончить с вечеринкой и приступить к делу, тем более, что ни у кого из нас, покуда что, не имелось никакого представления ни о парторганизаторе-агитаторе, ни о том, что он нам скажет.

Благодаря этим обстоятельствам вечеринка кончилась раньше предполагаемого времени, и мы, спровадив наших девиц, остались одни, под видом выпить пива и побалакать, наконец, явился агитатор-организатор. Тов. Лисиц представил его нам, не сообщив однако ни его фамилии, ни «клички», а просто назвав его – наш товарищ, а тот, спросив, можно ли приступить, и получив утвердительный ответ, стал нам рисовать картину бедственного положения рабочих и крестьян вообще, в частности – рабочих и батраков Прибалтики, доказывая необходимость борьбы за улучшение их положения, указывая в то же время на те трудности, которые

встретятся на нашем пути, – возможность обысков и арестов, заключения в крепости, ссылки и прочее, – ввиду чего необходима конспирация в работе и тому подобное. Закончил он свою речь эпизодом из французской революции, особенно подчеркивая самоотвержение парижского пролетариата, который будто бы, будучи осажден капиталистическими войсками, несколько дней голодал, а когда однажды были получены яблоки, последние были разделены среди восставшего пролетариата с таким расчетом, что одно яблоко приходилось на четырех человек на двое суток, и несмотря на такое положение, пролетариат, сознавая правоту начатого дела, продолжал борьбу вплоть до полного его уничтожения со стороны буржуазных войск.

Знакомясь впоследствии с историей французской революции, я, конечно, в книгах таких фактов не находил; но тогда доводы нашего агитатора произвели на нас такое потрясающее впечатление, что мы с энтузиазмом восклицали: «Одно яблоко на четырех человек, да на двое суток! Какой героизм, какая самоотверженность!». А наш агитатор, продолжая свою речь, увлекал нас все дальше и дальше, дойдя до гильотины. Каждое его слово мы слушали, глотая его с замиранием сердца. Когда оратор кончил, мы обратились к нему с рядом вопросов, на которые он дал нам исчерпывающие ответы. Наконец, прощаясь с нами, он так же, как и товарищ Лисиц, вновь предупредил нас о необходимости в нашей работе строжайшей конспирации, так как отныне мы будем по-

лучать аккуратно прокламации, воззвания «Zihna» и другую нелегальную литературу; он инструктировал нас также, как держать себя в случае ареста кого-либо из нас, затем, уже направляясь к выходной двери, он сказал, чтобы мы не расходились, так как с участием товарища Лисиц нам предстоит еще выборы кружкового руководителя.

Таковым был избран я. Отсюда началась вся наша дальнейшая работа – я, держа связь с тов. Лисиц, получал через него прокламации «Zihna» и кое-какие брошюры, которые по прочтении передавались мною другим членам кружка, а по миновании надобности возвращались обратно товарищу Лисиц. В этот же период меня познакомили и со студентом Емельяном Аболтиным, через которого впоследствии я стал получать необходимую нам литературу и инструкции о работе.

Летнее время благоприятствовало работе; мы могли собираться в лесу, на лужайках, словом, где угодно, не боясь полицейского глаза; мы регулярно сходились, с увлечением слушали наших старших товарищей, расспрашивали их об интересующих нас вопросах, разбрасывали и расклеивали прокламации, когда это нужно было, и чувствовали себя участниками революционного дела. С наступлением же осени и зимы положение ухудшилось: устраивать собрания можно было лишь у кого-нибудь в квартире, но таких квартир – квартир холостяков, без постороннего глаза – не оказалось, а собираться у женатых или посвящать в это дело

родных было небезопасно, и мы имели возможность устраивать заседания лишь с большими перерывами, в большинстве случаев в неподходящей обстановке, по воскресеньям, в корчме (что-то вроде пивной), в отдельном номере и за стаканом пива.

Это станет понятно читателю лишь тогда, когда он познакомится с тем, как жила молодежь в латвийской провинции в дореволюционное время; работая учеником или подмастерьем у ремесленника, он не имел собственного угла, а в большинстве случаев получал лишь место на двух-трехэтажной кровати, в углу мастерской; и поэтому приходилось, при устройстве собраний, мириться и с номером в корчме.

Так прошла осень и зима. К весне работа оживилась и, к нашему удивлению, у учителя приходской школы и не помню у кого еще приезжими представителями жандармерии были произведены обыски вплоть до сдирания обоев; два-три человека были арестованы, закованы в ручные кандалы и под конвоем куда-то увезены.

Нас это удивило, во-первых, потому, что, мне казалось, что наш кружок единственный кружок в местечке и другого подобного ему нет. Как читатель увидит впоследствии, мы в этом глубоко ошиблись.

Кстати сказать, в ночь обысков у вышеупомянутого учителя и других лиц, я был предупрежден об этом товарищем Лисиц и должен был, в свою очередь, предостеречь членов кружка – быть на чеку. Так как, в смысле конспирации, дело

у нас обстояло благополучно и дома всегда всё было припрятано в надлежащее место, а, «прокламашки» мы перетаскивали друг от друга обернутыми под чулком вокруг ноги, то мы обысков не боялись; беспокоились лишь об одном—как бы не попался наш гектограф, который, впрочем, по словам тов. Лисиц, находился у надежного товарища.

После этих обысков и арестов до начала лета вся наша работа протекала обычным нормальным темпом, при чем Лисиц и Аболтин все обещали мне к лету чем-то особым порадовать нас, а на все мои расспросы чем, — так и не сказали.

Вдруг в начале или конце мая стряслась беда. В субботу вечером, накануне какого-то церковного праздника, наш кружок получил задание разбросать по кладбищам, около церкви и в других местах прокламации, а в воскресенье рано утром я должен был, ездя на велосипеде, известное количество прокламаций расклеить на телеграфных столбах—по дороге к городу и к церкви. Мы распределили между собою роли: мне, Эдуарду Клявину и, кажется, товарищу Заккису выпал обход Почтовой и Виркенской улиц.

Забрав соответствующее количество прокламаций, мы с наступлением ночи отправились на работу.

Было решено разбрасываемые по улицам прокламации прикрывать камешками, чтобы ветер не сдувал их, а часть из них заложить за ставнями более крупных мастерских—в расчете на то, что утром, когда ученики мастерских откроют ставни и обнаружат там прокламации, они перенесут их

в мастерские, где, понятно, всякий рабочий их прочитает. Согласно предпринятому плану действий, Клявин и Заккис пошли впереди и непосредственно разбрасывали листовки, а же с пакетом прокламаций следовал за ними в шагах 15—20 с тем, чтобы в случае опасности дать сигнал товарищам и самому с имеющимся у меня запасом прокламаций скрыться.

Пройдя всю Почтовую и Виркенскую улицы и разбросав там прокламации, мы вернулись к началу Почтовой улицы, чтобы проверить, все ли обстоит благополучно. Снова проходя по Почтовой улице со стороны конно-почтовой станции, мимо конфетной фабрики «Фортуна», почти до самой Рыночной площади, мы обнаружили, что ни одной из разбросанных прокламаций на улицах не имелось, что, конечно, нельзя было объяснить тем, что проходящая публика их все подобрала. Мы ускорили шаг для того, чтобы убедиться, не шла ли вслед за нами полиция; и пройдя еще несколько шагов, действительно, разглядели впереди нас силуэты двух урядников, подбирающих разбросанные нами прокламации. Оставалось одно— перехитрить полицейских, свернув с улицы, и начать работу снова, что мы и сделали; но так как у нас прокламаций оставалось весьма немного и часть из них должна была быть оставлена для расклейки, то приходилось очень экономить, и начав с середины Почтовой улицы и следуя за урядниками на почтительном расстоянии, мы восполнили образовавшийся пробел.

На следующий день, рано утром, из предосторожности

перевязав свой велосипед в нескольких местах тряпками, я отправился на расклейку. Утро было туманное. Выхав по Банной улице, чтобы не ехать через центр местечка, я направился через пастбище на большую дорогу, ведущую к имению Виркен, и стал расклеивать заблаговременно намазанные крахмалом и сложенные вчетверо прокламации. Не успел я отъехать от местечка и двух верст и наклеивая, должно быть, всего лишь девятуя или десятую прокламацию, я заметил, что сзади меня, еще на далеком расстоянии, кто-то едет на подводе и останавливается у телеграфных столбов, на которые я только что наклеивал прокламации. Сначала я подумал, что это проезжающий крестьянин и что останавливается он у каждого столба лишь только потому, что прокламации были разных цветов и он мог предположить, что они имеют и разное содержание, однако, подпустив подводу поближе, я убедился, что это—урядник и что он трудится «за царя и отечество», соскабливая своей шашкой наклеенные мною прокламации. Мой заряд пропал даром, необходимо было скрыться с «глаз начальства» и переменить маршрут, что я и сделал. Отъехав с версту и убедившись, что урядник из-за тумана не только не видит меня, но даже и не подозревает присутствия «социалиста», я, подобно зайцу, сделав несколько петель в сторону кустов вправо и приподняв свой велосипед, направился по дорожке влево на другую большую дорогу, тоже ведущую к местечку и к церкви и расположенную, примерно, в версте от первой; расклеив там остаток

прокламаций, я вернулся домой.

Вернувшись со всеми предосторожностями домой, еще в субботу вечером, я на всякий случай запасся «свидетелями», которые бы подтвердили, в случае надобности, что я ночевал у них, разделся и лег спать, однако заснуть не удалось, так как беспокоили мысли о том, как проходила работа по разбрасыванию прокламаций у других товарищей, все ли обошлось благополучно, не попался ли кто и не попали ли разбросанные прокламации в руки полиции.

Как потом выяснилось, хотя полицейские урядники и обшарили все улицы и кладбища, но и там наши ребята перехитрили их и умудрились наклеить несколько прокламаций даже на дверях лютеранской церкви, находящейся в полуверсте от местечка; урядники же, успокоившись своим обходом, внутренне радовались тому, что «выслужились» перед начальством, и доложили последнему, что к «праздничку» все обстоит благополучно, представив в доказательство соответствующее количество найденных прокламаций. Каково же было удивление полицейских, когда на следующий день, к церковному звону, «благопристойные» граждане стали приносить в полицию найденные ими «листки» ... Даже мой отец, найдя утром у наших ворот одну из таких прокламаций, начал совещаться с матерью о том, что с ней делать – нести ли в полицию или просто-напросто сжечь, чтобы след простыл. Нести в полицию—значило, по его мнению, дразнить её, если сжечь – могут подумать, что он на-

рочно не хотел предъявить начальству, да кроме того отец, как неверующий, был еще на плохом счету у духовенства и полиции. Мать советовала не нести, но, будучи глубоко верующей, придравшись к случаю, не замедлила прочесть отцу лекцию насчет того, что «бога надо чтить и начальство уважать». Шепчась и споря довольно продолжительное время, отец все время искоса поглядывал на мою кровать, как бы спрашивая мать—«чего доброго, может и он? – все ведь по ночам куда-то шляется». Мать же, словно угадывая его вопрос, стала успокаивать, говоря, что мое, мол, дело «молодо-зелено» и, следовательно, с девчонками шляется. В конечном итоге было решено, что, во избежание могущих возникнуть недоразумений, все же «листочек» в полицию отнести следует, что и было сделано отцом.

Вижу—делать нечего, тут не до сна: надо встать, одеться и отправиться к кое-кому из своих товарищей, чтобы обо всем разведать – так я и сделал.

Разведка моя обнаружила положительные результаты в нашу пользу и как будто, как я уже сказал, все обстояло благополучно, однако к полудню возникли серьезные опасения: кое у кого были произведены обыски, а Яков Спрогис и Заккис были арестованы и вечером под конвоем отправлены в уездный город. Мы обеспокоились тем, как бы не случилось провала, в Спрогисе мы все были уверены и ручались головой, что он, никогда не проявляя малодушия, не выдаст, на Заккис же трудно было положиться и мы боялись, как бы он

в случае побоев, а может быть и пытки, не выдал бы весь наш кружок и тов. Лисиц.

К нашему счастью, против обоих арестованных товарищей у полиции не имелось никаких улик, и через две недели они были освобождены и вернулись к нам. А тут и солнышко заглянуло в наши края: приехал агитатор-организатор из Риги и, как сообщили мне Лисиц и Аболтин, устраивается «массовка».

«Как массовка, – спрашиваю я Аболтина, – ведь нас только десять человек да вас двое, какая же из двенадцати человек может быть «массовка»?» В ответ на мое удивление оба они ухмыляются и отвечают:

Да не десять человек, а почти пятнадцать десятков!

Я пустился в обиду по поводу того, что они держали меня в неведении и не сообщили мне, что, кроме нашего, имеются еще и другие кружки; смеясь, они ответили:

Да в этом ведь и заключается вся конспирация в нашей совместной подпольной работе.

Массовка, устроенная в трёх-четырёх верстах от местечка Руен, в лесу, и обставленная нашими патрулями, с двукратными паролями и отзывами, прошла удачно: лишь на массовке я увидел, насколько велика и сильна была наша организация. Приезжим товарищем, по кличке «Клявин», был сделан обстоятельный доклад о целях и задачах всей латышской социал- демократической рабочей партии в целом – о целях, задачах, и методах борьбы нашей полевой организа-

ции, в частности. Каждый из нас с величайшим интересом и энтузиазмом слушал слова оратора и переживал с ним вместе те чувства глубокой радости, тревоги и стремления к борьбе, которые могут быть понятны только подпольным работникам, испытавшим на себе все условия подпольной работы, эти массовые собрания в лесах, когда каждый из нас, слушая приезжих товарищей, испытывал моменты глубоких переживаний, неопишутемы, они то призывали к борьбе, то отдаляли сроки ее, то поднимали на недостижимые высоты предстоящие волны восстания, то снижали их ко времени тяжелых испытаний – возможных расстрелов, виселиц, каторги и ссылки, – словом, речи ораторов на этих массовках казались опиумом борьбы и жертвы, приучающим к стойкости, выдержке и к терпению переносить невзгоды.

Как я уже сказал, массовка прошла благополучно; после окончания ее было спето несколько, плохо еще нами заученных, революционных и рабочих песен, красный флаг, развевавшийся во время массовки в центре нашего собрания, решено было водрузить на верхушке сосны, что и было сделано. Долго потом в народе говорили об этом флаге, о собрании в лесу «социалистов», которых полиции будто бы не удалось изловить. С этого момента массовки стали происходить чаще, при чем одна из них была устроена что называется под самым носом у полиции – в лесочке «Zuhkaups preedes», не более версты от местечка, а другая массовка состоялась в двух-трех верстах от местечка, под проливным до-

ждем.

Я отмечаю эти моменты лишь для того, чтобы сопоставить дисциплину партии в подпольный период с дисциплиной отдельных организаций в настоящее время; если на массовке, которая происходила под проливным дождем, участвовала вся наша организация, за исключением двух товарищей, о которых кружковые руководители доложили, что они отсутствуют по уважительным причинам, будучи заняты по специальным заданиям, то летом 1917 года в том же местечке и в той же организации, на первом же по моему возвращению из каторги собрании из всей организации на общем собрании я застал лишь треть всех членов.

Так – в массовках, в кружковых собраниях, в чтении нашей скудной литературы, в разбрасывании и расклеивании прокламаций, проходило все лето; наша организация, прежде причисленная к «Виденской», была реорганизована в самостоятельную организацию, подчиненную непосредственно ЦКЛ.С.-Д.Р.П. – под названием „Полевой центр Пламя“.

Как я уже сказал в начале моих беглых воспоминаний, положение батраков и рабочих, особенно последних, в нашем районе было невыносимо, к весне и к лету 1905 года оно несколько не изменилось. Ученики ремесленных мастерских, закабаленные на три-четыре года в ученичество, получали грошовое вознаграждение и скверные хозяйские харчи и по-прежнему бедствовали; ученики и рабочие конфектной фаб-

рики находились в не лучшем положении и все еще продолжали, при мизерной оплате (от девяноста копеек до полутора рублей в неделю), работать по двенадцать часов в сутки, детский труд, особенно – девочек, на конфетной фабрике применялся во всю.

Вот эти-то обстоятельства и привели к тому, что летом 1905 г. часть рабочих и работниц конфетной фабрики бросила работу, потребовав увеличения заработка и сокращения рабочего дня. Эта частичная забастовка не обошлась без нашего участия.

В задачу нашей организации, при создавшемся положении, входило – приостановить работы на конфетной фабрике полностью и не допустить туда «штрейкбрехеров». Частично это удалось, но этого было недостаточно и необходимо было принять меры, чтобы забастовка распространилась бы и на кустарные мастерские и увлекла бы собой рабочих и вышеупомянутой ножевой фабрики «Амор», между тем оплата труда на этой последней была сравнительно сносная, и рассчитывать на немедленное присоединение их к бастующим, тогда как еще не вся конфетная фабрика объявила забастовку, было нечего.

Приняв соответствующие меры в этом направлении, мы назначили день всеобщей забастовки по нашему местечку, так как вся наша организация прекрасно знала, что полиция давно точит свои зубы на меня и что мое выступление может

повлечь за собой немедленный мой арест, то было решено, что ко мне пойдет ряд товарищей из разных мастерских, захватят, будто бы насильно, меня с собой, а затем уже руководство забастовкой перейдет в мои руки.

Как и было условлено, в назначенный день и час ко мне явилась группа товарищей – рабочих-кустарей, в присутствии моего хозяина и его жены, под видом «угрозы», они заставили меня прекратить работу и последовать за ними. Мы направились по всем мастерским и со словами – «фейрабент» прекращали работы и предлагали рабочим и ученикам следовать за нами. В некоторых местах хозяева пригрозили нам полицией, но зная, что в местечке насчитывалось всего лишь три-четыре урядника, один жандарм (и то – стационарный) и младший помощник уездного воинского начальника, – мы этих угроз не боялись.

Остановив все мастерские, мы направились за реку, на лужайку, чтобы совместно выработать общие требования учеников и подмастерьев. На скорую руку таковые требования были выработаны, но не успели мы еще зафиксировать их на бумаге, чтобы потом, размножив на гектографе, предъявить хозяевам- работодателям, как увидели, что вслед за нами идет полиция, а с ней и кое-кто из головки местной «посадской» администрации и заведующий арестным домом. Не допустив их до себя, мы встали и направились в центр местечка – к кладбищу, к сборному пункту всех бастующих, в том числе и «конфетчиков», чтобы совместно направить-

ся на ножевую фабрику и, остановив там работу, выгнать из конфетной фабрики услужливых фабриканту «штрейкбрехеров».

По всей дороге до сборного пункта полиция на «почти-тельном расстоянии» следовала за нами, но к сборному пункту не подошла.

Объединившись с рабочими и работницами конфетной фабрики, мы направились на ножевую фабрику, расположенную около станции железной дороги. Ворота фабрики оказались закрытыми, и на наш зов открыть их из-за забора выглянула голова директора фабрики, который стал уговаривать нас не мешать им работать, так как, мол, его рабочие обеспечены хорошим заработком и прочее. В ответ на это кто-то крикнул:

– Тачку!

Голова директора немедленно скрылась за забором, а наши ребята, влезая друг другу на плечи, вскарабкались на забор, чтобы, перепрыгнув, открыть ворота изнутри, но не успели они исполнить свое намерение, как часть товарищей с треском сорвала несколько досок с забора, благодаря чему в заборе образовался проход, чрез который мы стали пробираться во двор фабрики, часть товарищей, в том числе и я, вбежав в нижний и верхний этажи фабрики с криками — «фейрбент!» (кончай!), остановили работу. После этого мы и направились по линии железной дороги на конфетную фабрику для того, чтобы, как уже было сказано, выгнать ра-

ботающих там «штрейкбрехеров» и пригрозить им, в случае продолжения ими работы, избиением (камнями).

По дороге нас встретила полиция, во главе с фабрикантом конфетной и ножевой фабрики Гольдбергом; последние пытались затеять с нами переговоры, увещевая рабочих стать на работу и не делать „глупостей“; но это ни к чему не привело, ибо рабочие потребовали исполнения требований конфетчиков. Подойдя к конфетной фабрике, мы убедились, что штрейкбрехеры уже удрали, и мы разошлись по домам, с намерением вечером собраться и обсудить положение дел и необходимых дальнейших мероприятий.

К вечеру несколько более передовых рабочих с обеих фабрик, и я были вызваны в канцелярию младшего помощника уездного воинского начальника. Предполагая еще до забастовки возможность со стороны полиции «вылавливания» наших товарищей, мы приняли соответствующие меры к недопущению арестов, и поэтому, покуда мы находились в канцелярии полиции и вели с Пржиалговским «политическую» беседу, вернее – слушали его лекцию о «нецелесообразности» забастовок для увеличения заработка и прочее, – на улице и во дворе скопилось десятка два наших товарищей.

Видя бесполезность и бесцельность своей лекции, «господин» Пржиалговский благосклонно заявил нам, что он задерживать нас не намерен. Услышав такое «милостивое заявление», мы, конечно, не стали с ним дискутировать и направились к выходу. Тотчас же по выходе мы условились

с частью руководителей кружков о том, чтобы специально-го заседания не устраивать, а лишь обменяться мнениями на ходу. Одновременно каждый руководитель кружка обязывался сообщить рабочим, чтобы последние не приступали к работе раньше, чем не будут выполнены требования конфетчиков, а также учеников и рабочих кустарных мастерских, каковым уже были вручены отпечатанные на гектографе общие требования для предъявления их работодателям. За стойкость ножевой фабрики мы были вполне спокойны, потому что там работало около сорока человек квалифицированных, приехавших из Риги, рабочих, среди которых было много партийцев, в большинстве рабочих и работниц конфектной фабрики мы тоже были уверены – единственное сомнение вызывали ученики и подмастерья-ремесленники.

Около десяти часов вечера выяснилось, что ряд кустарей-предпринимателей уступил требованиям подмастерьев и учеников, и нам пришлось решить, допустить ли их к работе или нет, было постановлено – там, где требования были выполнены, разрешить приступить к работе. Утром следующего дня руенский обыватель увидел небывалую для себя картину: обе фабрики не работали, часть кустарных мастерских тоже бездействовала, а рабочие и работницы прогуливались около фабрик, дабы не допустить к работе «штрейк-брехеров».

К полудню на лошадях прибыло уездное «начальство», с уездным воинским начальником во главе, остановившись

в гостинице Зейферт, «начальство» вызвало к себе своего младшего помощника Пржиалговского, фабриканта Гольдберга и других нужных ему лиц.

После некоторого совещания туда же были вызваны и делегаты и делегатки от конфетной фабрики для переговоров, последние ни к чему не привели, ибо Гольдберг на повышение заработной платы не шел и обещал дать прибавку лишь к Рождеству (время, когда усиливались заказы), в ответ на это делегация заявила, что рабочие к работе не приступят.

К вечеру на заборе завода появилось объявление с призывом к «честным» рабочим и работницам стать на работу, десяток таких «честных» рабочих нашелся, но не был допущен к работе остальными.

Так прошел день, уездный воинский начальник уехал вечером, а на смену ему с ночным поездом прибыл отряд пятнадцать-двадцать человек с ног до головы вооруженных казаков. У конфетной фабрики были выставлены часовые – группа штрейкбрехеров в десять-двенадцать человек вышла на работу, рабочие и ученики кустарных мастерских тоже, часть хозяев отказалась от своих обещаний рабочим, но рабочие ножевой фабрики, поддерживая неработающих конфетчиков, к работе не приступили.

Вечером по улицам демонстрировал отряд казаков, в темноте и в переулках кое-кто из штрейкбрехеров был побит камнями, а кое-кого из наших избивали казаки...

Настроение падало. Хотелось довести начатое дело до

конца, добиться удовлетворения требований рабочих, хотелось всеми силами помешать штрейкбрехерству, но мы чувствовали, что стоит лишь фабрикантам сделать некоторую уступку отдельным рабочим, от которых зависело пустить конфетную фабрику в ход, и наше дело будет проиграно.

Так и случилось – группе необходимой части рабочих и работниц было прибавлено, и те приступили к работе, остальных рассчитали и затем поодиночке принимали снова. С рабочими ножевой фабрики велись переговоры: последние, заявив, что они прекратили работу из-за солидарности к конфетчикам, потребовали уплатить за забастовочные дни и обещали приступить к работе. Фабрикант в уплате отказал, работа на фабрике не возобновлялась.

В период этого времени мы, несколько человек из нашей организации, говорящие сравнительно хорошо по-русски, получили задание завязать связь с казаками и «обработать» их. Сначала это удавалось очень туго, но постепенно шаг за шагом, подчас в беседе с ними за кружкой пива, дело дошло до того, что мы без стеснения совали им по карманам нашу специально для этой цели привезенную литературу и «прокламашки»; и в результате добились того, что однажды, «угостив» их как следует, мы, сидя с ними подвое в седлах, прокатились не только за городом, но и проскакали через центр местечка. Об этом стало известно «начальству», и наши друзья в непродолжительном времени были заменены другими.

Ножевая фабрика все еще не приступала к работе, и часть рабочих, не имея возможности долее существовать без заработка, уехала в Ригу, помочь им и воспрепятствовать этому мы не могли и не имели морального права, так как никакого забастовочного фонда у нас не было, а также никаких сумм не получали мы и из центра, если чем и помогали, так своими грошами и несданными членскими взносами, а эта помощь являлась каплей в море.

Фабрикант, наверное, учтя, что может остаться без квалифицированных рабочих и что, с отъездом остальной части их, придется закрыть фабрику или привезти новых квалифицированных рабочих, что в свою очередь связано с крупными расходами, решил выплатить оставшимся рабочим за забастовочные дни – рабочие приступили к работе. Это достижение явилось не только ярким солнышком в нашей дальнейшей работе, но и лучшим агитационным средством.

После этого опять, до самой осени 1905 года, работа стала протекать нормальным темпом. Помимо повседневной агитационно-организационной работы, необходимо было связаться с вновь прибывшим отрядом казаков, повести среди них пропаганду и проч.

Это дело оказалось не столь легким, ибо «начальство», наученное горьким опытом, издало по отряду ряд строгих приказов.

Мы ловили момент и пустили в ход наших девчат, сами провожая их на некотором расстоянии: девчатам было дано

задание начать с казаками разговор, а там – и мы поспеем... Оказалось, однако, что и это средство не подходит: казаки избегали их. Тогда убедившись, что часть из них по вечерам прогуливалась на вокзале, решено было взять их пивом. Мы с товарищем Лисиц тоже участвовали вечерние прогулки на вокзал и как-то раз, поймав трех из них и завязав с ними разговор, предложили им выпить пива. Они сначала отказались, должно быть, стесняясь вместе с нами стоять у буфета на «глазах» у всех, да еще – станционного начальства. Продолжая, однако, разговор и предложив покурить, мы их отвели в сторонку и тут же для себя заказали пива, которое нам подали на скамеечку в углу (столиков там в Щ-м классе не было). Налив два стакана, мы все же предложили им выпить; поцеремонившись, они в конце концов стаканы приняли и выпили, прибавив, что пиво не в их вкусе и что они предпочитают водочку. За этим дело не стало, так как буфет торговал и водочкой.

За водочкой языки у наших будущих друзей развязались. Мы с Лисиц перевели разговор на тему о стоявшем у нас до них отряде, расхваливая тех ребят, которые с нами жили дружно, оказалось, что они об этом ничего не знают – они попросили нас рассказать об этом подробно, что мы с удовольствием и сделали.

Словом, расстались мы с ними по-дружески. Постепенно мы расширяли круг знакомства с отрядом, пока не перезнакомились со всеми казаками. А там пошли беседы, прокла-

мации с угощением и прочее... Казаки, насколько это было по тем временам возможно, стали «свои ребята», и нам нечего было бояться, что они нас выдадут.

События подвигались, и мы готовились к чему-то такому, что должно было потрясти весь мир. Мы все были полны воодушевления, силы и энергии; нам казалось, что, дойди дело до вооруженного восстания, пустяком будет захватить всю власть в свои руки: ведь рабочих, батраков так много, полиции горсточка, а солдаты что – ведь, они сыны народа... Все это усиливало воодушевление и энергию к работе – подпольной, рискованной и опасной.

Военно-прокурорский надзор, давая впоследствии заключение по делу нашего восстания, так описывал весь этот период:

«...С начала 1905 года в посаде Руен, расположенном на линии Перново-Ревельского подъездного пути и его окрестностях, стали появляться разбросанные прокламации революционного содержания, до местной полиции доходили сведения о происходивших неразрешенных собраниях, которыми руководили приезжие лица. Осенью того же года по Руену распространился тревожный слух о предстоящих беспорядках, вследствие чего, с разрешения лифляндского губернатора, составила самооборона, в состав которой вошли наиболее интеллигентные и зажиточные элементы из числа жителей посада».

Вот эта-то самооборона и оказалась, как читатель увидит

впоследствии, гибелью для «наиболее интеллигентных и зажиточных элементов» (читай местной буржуазии).

Как я уже сказал, мы готовились к вооруженному восстанию. Для этого нужно было оружие, кое-как мы наскребли среди своих товарищей для первого боевого отряда пару старых «бульдогов», наган, японскую винтовку с тремя патронами, одну шпагу и несколько охотничьих ружей. Надо было действовать, и уже к началу октября решено было обезоружить имение Гензельсгоф.

По имевшимся у нас сведениям, в этом имении было сконцентрировано оружие всех удирающих в Фатерланд баронов-помещиков, что для нас, —имея в виду, что многие из них были военные в отставке, — должно было составить целый клад. Операцию было решено произвести ночью, перерезав телефонные провода, ведущие в имение.

В условленное число и час наш отряд, человек в десять-двенадцать, собрался в ближайшем лесу, имея с собой «когти» (кажется, так называется инструмент для взбирания на столбы).

Нужно сказать, что половина из нас была не вооружена и должна была вооружиться уже в имении—из отобранного там оружия. Мы выслали в имение разведку из двух человек, которые должны были пробраться к тамошним горничным, и по старому знакомству, разузнав обо всем, сообщить остальным как обстоит дело, товарищи отправились, а для оставшихся в лесу наступили долгие минуты нетерпеливого

ожидания.

Наконец, спустя час они явились со свистом, заявив, что мы опоздали и что баронская сволочь, еще за сутки до нашего появления, в полном вооружении удрала. Делать было нечего – пришлось пожалеть, что мы опоздали, и отправиться восвояси.

Наступили дни высочайшего манифеста от 17-го октября, и мы наполовину вылезли из подполья, организовав общие собрания с участием рабочей молодежи, а затем – и всех рабочих батраков и крестьян.

Необходимо здесь заметить, что первоначальные совместные собрания рабочих, батраков и крестьян носили массовый характер и вылились в единодушные протесты против правительства Николая и его агентов – помещиков и фабрикантов, в отказ перевозить войско и отдавать своих сыновей на службу царскому правительству, однако, когда дело доходило до земельных реформ, собрания разбивались на две части: на батраков и рабочих, с одной стороны, и на так называемых крестьян-серых баронов, имевших по сорок и больше десятин земли и по двадцать-тридцать голов крупного рогатого скота, с выездными лошадьми и прочее, с другой.

Сделав эту маленькую оговорку, считаю долгом остановиться на одном из таких массовых собраний, назначенном на второе ноября 1905 года, и привести несколько строк из заключения того же «военно-прокурорского надзора Петроградского военно-окружного суда» в лице помощника про-

курора подполковника Павлова.

„... После опубликования высочайшего манифеста от 17-го октября на улицах Руена, а также и в помещении Руенского сельскохозяйственного общества начались собрания, преимущественно, рабочей молодежи, на которых обсуждались вопросы экономического характера. В населении стало наблюдаться революционное настроение. В самом конце октября 1905 года на улицах посада Руена появилось объявление от имени латышской социал-демократической рабочей партии в Риге, приглашавшее жителей собраться второго ноября к часу дня на митинг, в местное сельскохозяйственное общество.

Так как было ясно, что митинг будет носить противоправительственный характер, среди более консервативной части населения возник план, в разработке коего принял также участие местный младший помощник уездного начальника Пржиалговский, – не допускать на митинг революционной пропаганды, с этой целью было решено: того же второго ноября, но с утра, в том же помещении устроить народное собрание, руководство коим возложить на волостного писаря Гринвальда – человека, известного не сочувствием революционным тенденциям, предполагалось выяснить собравшимся положение вещей, созданное высочайшим манифестом, и таким путем парализовать влияние агитаторов. План этот, однако, потерпел неудачу. Петр Гринвальд был осви-стан и вынужден был покинуть зал собрания. Руководитель-

ство митингом перешло в руки революционеров. Ораторами выступали бывший волостной писарь Яков Краузе, студент Аболтин и некий Клявин, личность коего установить не представилось возможным. Ораторы призывали собравшихся к борьбе с существующим государственным и общественным строем, указывая на необходимость замены существующего строя демократически-республиканским.

С этого дня в помещении Руенского сельскохозяйственного общества народные собрания стали происходить чаще и чаще. Находившиеся в зале общества портреты государя-императора и государыни-императрицы были сняты. У входа, а также у эстрады, с которой произносились речи, был водружен красный флаг с надписью: Да здравствует революция. На эти собрания в значительном количестве стекались крестьяне окрестных волостей...

Независимо от сего в сельско-хозяйственном обществе происходили по вечерам, а иногда ночью, особые собрания, на которые публика не допускалась: в этих собраниях, носивших характер совещаний, участвовали вышеупомянутые – Аболтин, Краузе, Лукстин, Аус, смотритель-подрядчик Август Дамбит и некоторые другие, как, например, – С. Кукайт, Р. Рейн и Г. Свикис...

Изложенные обстоятельства нашли себе подтверждение в показаниях допрошенных на предварительном следствии свидетелей: бывшего младшего помощника Пржиалговского, врача Вольфа, бывшего старшины посада Руена – Пест-

мала, руенского купца Енде, пастора Бера, полицейских урядников Аспера и Резгала, фельдшера Зумента, жены руенского священника Варвары Карклиной, учителя Путрайма и других.

В двадцатых числах ноября 1905 г. по Вольмаркскому уезду разнесся слух, будто приближаются какие-то банды хулиганов и грабителей, получивших наименование «черной сотни». Распространившийся чрезвычайно быстро, слух этот взволновал местное население: многие из жителей стали прятать свое имущество и уходили в леса; возник вопрос об организации самообороны и о приобретении для этой цели оружия. В этот период времени в посаде Руен молодежь, хотя и принадлежавшая к революционному лагерю, оказывала содействие полицейской власти в борьбе с преступными элементами.

Такое положение вещей продолжалось, однако, недолго. Воспользовавшись тревожным состоянием населения, революционные агитаторы стали разъяснять народу, что «черная сотня» вызвана немцами-помещиками для борьбы с крестьянами, что у помещиков имеются значительные запасы оружия, предназначенные для вооружения «черной сотни», что вследствие ходатайства помещиков в Лифляндскую губернию будут посланы войска. Термин «черная сотня» мало-помалу изменил свое первоначальное значение: благодаря указанной выше агитации, этим названием именовались сами помещики, представители правительственной власти и

все те вообще, кто проявлял не сочувствие революционному движению. Поступки отдельных лиц, проявивших чем-либо подобное не сочувствие, публично обсуждались на митингах. Так, например, руенские купцы Титьенс и Берглунд, заподозренные в распространении антиреволюционных изданий, по постановлению митинга были подвергнуты бойкоту.

Такое же обвинение было предъявлено на одном из митингов пастору южно-руенского прихода – Бери, который был даже вызван для публичных объяснений по этому поводу в народное собрание.

Пропаганда велась в духе программы социал-демократической партии, конечная цель которой, как видно из приложенной к делу программы ее, сводилась к ниспровержению установленного в империи основными законами государственного и общественного строя и замене такового демократической республикой.

В самом Руене образовалась районная организация этой партии, присвоившая себе название «Полевой центр Пламя», участники этой организации собирались в доме крестьянина Карла Кальценау, в особой квартире, снятой двадцатого ноября 1905 года крестьянином Рихардом Рейном и Вилюмом Грозиным, в этом же помещении, получившем название бюро, принималась запись лиц, желавших принять участие в деятельности партии и вносивших членский взнос в размере двадцати копеек в месяц. Молодые люди, записавшиеся в число членов партии, открыто называли себя со-

циал-демократами или социалистами, играли на митингах роль распорядителей, носили сначала красные, а потом синие бантики, ходили по Руену вооруженные, распространяли нелегальную литературу и назначали из своей среды патрули, охранявшие Руен от «черной сотни».

Как видно из приведенной выше выдержки из обвинительного заключения царского прокурорского надзора, агенты царского правительства были слишком далеки от суровой действительности, предполагая, что поток революционной волны можно удержать подставными, верными правительству Николая людьми, – о чем свидетельствует освистание Гринвальда, принужденного покинуть собрание.

Работа (свыше года) «Полевого центра Пламя» Латышской Социал-Демократической Рабочей Партии, насчитывавшей в своей среде около 150 членов, имевшей связи с фабричными рабочими, учениками и рабочими кустарных мастерских, с батраками «серых» и действительных баронов, не могла не сказаться на ходе революции 1905 года хотя бы части Прибалтики.

Если изданный «милостивый манифест» царя, пущенный в ход как последнее средство для обмана народа, не мог изменить хода революционных событий, то тем более никакие выступления услужливых людишек из лагеря желтого предательского интернационала никакого влияния на эти события иметь не могли, и события шли своим чередом, – шли неудержимо, как весенние воды, срывая на пути все прегра-

ды и препятствия.

Но оставим опять на минутку в стороне заключение прокурорского надзора и вернемся к происходившим событиям-

Выйдя из подполья и перенеся работу нашего бюро в мою квартиру, в доме Кальценау, наша организация приступила к вовлечению в партию широких масс рабочих и батраков, одновременно давая всем им всевозможные необходимые справки и инструкции – как вести работу по созданию новой пролетарской власти.

Перед нашей организацией стояли две очередные задачи: во-первых – иметь в достаточном количестве свои печатные прокламации, воззвания, революционные песни, резолюцию Рижского конгресса и прочее, которых центр Латышской Социал- Демократической Рабочей Партии не мог дать нам вовремя и в достаточном количестве, и во-вторых – добыть оружие.

Поскольку в подполье, как ученик типографии, подчас работая по ночам, я мог обслуживать, втихомолку от хозяина, скромные нужды нашей организации в печатном материале, – постольку теперь, когда потребность в этом отношении возросла в сотни раз, это представлялось совсем невозможным, и было решено закупить свой шрифт и набирать дома, покуда же, до окончательного перехода власти в наши руки, печатание всей более сложной нелегальной литературы возложить на меня же, а более официальную заставить печатать

тать моего хозяина. Здесь я должен оговориться, – и пусть это будет небольшим упреком нашим руководителям, из которых некоторые еще здравствуют, – что как в вопросе печатания изданий, воззваний и прокламаций, так и в вопросе об оружии (как впоследствии убедится читатель) ими была проявлена нерешительность и чрезмерная «интеллигентность», и в этих, как и в других вопросах, рядовые товарищи-партийцы шли впереди своих руководителей, предлагая действовать по-революционному.

Покончив наполовину с печатным вопросом, нужно было обеспечить и оружейный.

Будучи членом бюро и заведующим оружием, я больше всего беспокоился о последнем, так как ни на складе, ни на руках у патрульных, кроме кое-какого револьверного хлама, ничего не было, а вооружение требовалось до зарезу.

Переговорив с руководителями, а именно с Краузе (впоследствии перекочевавшем в лагерь желтых), Лукстиным и Аболтиным, я предложил произвести разоружение имений, а затем и полиции, и начать с имения Виркен. Первые два никак не соглашались на это, – особенно в отношении Виркен, так как, мол, управляющий имением сам обещал завтра-послезавтра привезти все оружие, а товарищ Аболтин, соглашаясь со мной, почему-то не хотел действовать более самостоятельно, хотя и имел, как представитель центра, полное право на это.

Мне это показалось подозрительным, и я решил дей-

ствовать самостоятельно. Обмозговав совместно с наиболее близкими товарищами дело разоружения имения Виркен, я несколько спустя все же доложил об этом Аболтину, который тут же санкционировал мой план, заявив, что он и сам не вполне согласен с Краузе и Лукстиным, ибо они начали вести какую-то соглашательскую политику.

Так как уже был вечер (числа не помню, должно быть – в конце ноября или первого декабря), а имение находилось в четырёх верстах от местечка, то, следовательно, надо было действовать без промедления.

По имевшимся у нас сведениям, имение охраняли вооруженные с ног до головы черкесы, специально истребованные помещиком еще в сентябре-октябре 1905 года для охраны, а так как у нас, как я уже сказал, оружия почти не было, то надо было как-нибудь восполнить этот пробел, и мы пустились на хитрость.

Пригласив человек 100 отправляющихся с собрания домой батраков присоединиться к нашему, на скорую руку организованному отряду человек в десять, мы направились к имению, выломав по дороге соответствующее количество молодых ивовых веток – длиною с винтовку, – концы и ободранные места которых замазали грязью; эти дубины и должны были служить нам при лунном свете «винтовками».

Таким образом, у нас образовался отряд, численностью свыше 100 человек. Выстроив его на шоссе по четыре человека в ряд и скомандовав «на плечо», мы сами удивились,

как в ночной темноте, при тусклом лунном освещении, наша дружина смахивала на вполне вооруженный отряд, ибо у каждого над плечом торчало что-то весьма похожее на дуло винтовки.

План разоружения имения был таков: подставные сто человек, окружая имение, должны были спрятаться за деревьями с палками на перевес, с таким расчетом, чтобы создать впечатление вооруженных людей наготове; нам же, десяти лицам, частично кое-как вооруженным старыми «бульдогами» с неполным комплектом патронов, охотничьими ружьями и прочим оружием, надлежало разделить на две группы, из которых одна должна была занять парадный вход, а другая – черный, причём при обнаружении хотя бы одного ружья, мы должны были сейчас же передать его невооруженным.

Подойдя к имению со всеми предосторожностями, по возможности бесшумно, «палочники», как и было предположено, окружили его «бегом»; остальные же две группы бросились к входам и немедленно постучали. Я стоял во главе группы, занимавшей черный ход, и мой отряд расположился вплотную к дверям так, чтобы, по открытии их, вход оказался бы в нашем распоряжении. Изнутри раздался вопрос:

— Кто там?

Когда было отвечено, что стучатся представители Руенского Бюро, дверь распахнулась и в ней показался ствол ружья.

Схватив его левой рукой и приподняв, я правой направил дуло своего револьвера против человека, державшего это ружье, с возгласом:

— Ни с места—застрелю!

Человек выпустил из рук ружье и стал как вкопанный.

Человек этот оказался лесничим помещика и родственником управляющего имением, выставленное им трехствольное ружье, изукрашенное серебром на прикладе, было его собственным. Позади него стоял его помощник, также вооруженный охотничьим ружьем, которое у него тут же и было отобрано. Захваченным оружием сейчас же были снабжены двое невооруженных из нашего отряда.

Тем временем парадный ход был занят другой частью нашего отряда, и мы уже встретились в барских палатах, тщательно все обыскивая. Обнаружено было порядочное количество всякого оружия, боевых припасов и другого снаряжения, правда, часть ружей была очень старых образцов, но в условиях нашего оружейного голода это было вполне пригодно.

Покончив с обыском и не найдя нигде черкесов, мы потребовали от управляющего указать, где они спрятаны, пригрозив, что если он не скажет, а мы сами их обнаружим, то ни им ни ему не поздоровится, в ответ на это он нас заверил, что их нет и никогда не было.

Расспросив ряд батраков, мы убедились, что черкесов, действительно, уже нет, но что несколько недель тому назад

они здесь еще были. Мы решили было уже отправиться в обратный путь, как вдруг узнали, что в имении находятся две пушки; мы снова вернулись к управляющему и потребовали их выдачи. Его отрицания и прочие рассуждения заставили нас прибегнуть к угрозе, после чего пушки нашлись, правда, дюймового калибра, старого образца, зажигаемые фитилем. Со словами – и это пригодится, мы привязали к ним по бечевке и потащили за собой.

Поблагодарив наш «палочный отряд» за соучастие в деле, мы отправились к местечку, предварительно, по случаю первого успеха, сделав несколько выстрелов в воздух из только что приобретенных трофеев.

Подходя уже к местечку, мы увидели, что к нам навстречу едут две подводы, на одной из которых сидит урядник, русский фельдшер Зумент, кожевник Кюнс и еще кое-кто из зажиточно-консервативного элемента.

Мы остановили их и спросили, куда и зачем они едут. Они ответили, что услышали выстрелы (прямым путем—имение от местечка в двух верстах) и, узнав в Бюро, что мы отправились на разоружение имения, и предполагая, что могут быть раненые, поспешили к нам на помощь с медикаментами и перевязочными средствами.

Мы им посоветовали, во избежание недоразумений, впредь этого не делать, ибо прекрасно понимали, что это за помощники, из человеколюбия спешившие нам на помощь...

Придя в Бюро и обрадовав других товарищей захваченными трофеями, мы тут же все добытое распределили между нашими членами.

Так разоружили мы первое имение.

Многим из молодежи,—комсомольцам и пионерам,—может быть, прием «палочного» вооружения для разоружения имения, где может быть оказано сопротивление, покажется диким, а, может быть, и ребяческим, но тогда, осенью 1905 года, когда скулы дрожали у помещиков, он не был ни диким, ни ребяческим.

Дальнейшее разоружение имений—Геринсгоф, Аррос, Мецкюль, Мойзекюль, Зенерсгоф, Гейзельсгоф, Олерсгоф, Пайпс и другие – происходило уже более нормальным порядком, так как с каждым очередным случаем мы приобретали изрядное количество нового вооружения. Такие же разоружения были произведены и в соседнем с нами Салисбургском районе, с которым мы держали связь.

Покончив с имениями своего района, мы решили приняться и за полицию, которая изрядно мозолила нам глаза – было постановлено продемонстрировать совместную встречу салисбургской конницы с нашей пехотой и в тот же день обезоружить полицию. День встречи был назначен на воскресенье, 11-го декабря, когда и прибыла салисбургская конница, под командой Кришьяна Боча, в Руен. Наша пехота вышла с музыкой и песнями навстречу салисбургцам, за версту от местечка, где с обеих сторон были произведены привет-

ственные салюты и произнесены речи. Соединившись в одну общую вооруженную массу, оба отряда прибыли в местечко Руен и приступили к разоружению полиции.

Военно-прокурорский надзор, в лице подполковника Павлова, по поводу этих событий пишет:

«На тех же основаниях, как и в Руене, народная милиция создалась и в посаде Салисбурге, находящемся от первого в расстоянии двадцати пяти верст.

В воскресенье, одиннадцатого декабря 1905 года, салисбургские милиционеры, под командой Кришьяна Боча, прибыли верхом в Руен, где произошла торжественная встреча с местной милицией. Соединившись, салисбургские и руенские милиционеры с музыкой и красными флагами прошли по посаду.

В тот же день, то есть одиннадцатого декабря 1905 года, все чины руенской полиции, а именно—младший помощник уездного начальника Пржиалговский, полицейские урядники Бейнар, Траулин, Аспер и Резгал и жандармский унтер-офицер Ковально, были обезоружены соединенными силами руенских и салисбургских революционных элементов.

Около трёх часов дня значительное число конных и пеших вооруженных революционеров прибыли к дому, в котором помещалась квартира и канцелярия местного младшего помощника. В то время, как большинство оставалось на улице, несколько лишь десятков вошли во двор дома, а оттуда

внутри квартиры и канцелярии господина Пржиалговского. В присутствии последнего, жены его, писцов, служанок революционеры, обыскав несколько раз жилую квартиру, канцелярию и даже клеть в канцелярии, несмотря на протесты младшего помощника, самовольно отобрали все найденное в этих помещениях оружие: ружья, револьверы, патроны».

Далее, обвинительное заключение трактует о том, при каких условиях были обезоружены урядники, стремясь их выставить в выгораживающем последних свете, – указывая на оказанное якобы ими сопротивление и прочее между тем ни один из них не только не посмел оказать сопротивление, но даже и пикнуть, ибо слишком много вреда принесли они всему трудовому народу, защищая за взятки воров и разбойников, прикрывая их злодеяния и обижая трудовой народ.

С разоружением полиции, можно сказать, власть царского правительства окончательно прекратила свое существование в тех районах Прибалтийского края, где восставший народ вершил свои судьбы.

На основании постановлений Рижского конгресса, да, кстати сказать, и создавшегося положения, нужно было не только подумать об организации своей рабоче-крестьянской власти, но и создать таковую, – размышлять об этом было уже нечего, так как еще в начале восстания этот вопрос был предрешен.

Поэтому, обезоруживая помещиков, серых баронов и полицию и вооружаясь, восставший народ, держал непрерыв-

ную связь с прилегающими районами и прерывая эту связь по правительственной линии, ждал момента захвата свергнутой власти в свои руки.

Оперируя документами того же прокурорского надзора, мы в этом вопросе имеем следующие картины:

С несомненной целью прервать сношения Руена с другими местностями, революционеры повредили телеграфное и телефонное сообщение. В первый раз повреждение было обнаружено вечером десятого декабря. Тотчас же по обнаружении надсмотрщик руенской телеграфной конторы Карл Лездин в сопровождении почтальона Индрика Кукайна отправились в революционное бюро, находящееся в доме Кальце-нау, где среди других лиц застали Емельяна Аболтина и Михаила Аболтина. На вопрос Лездина, почему повреждены телеграфные провода, студент Емельян Аболтин ответил:

— Нечего ходить справляться, объясняться мы не будем, раз сделано, значит так и надо.

На следующий день повреждение телеграфных и телефонных проводов было обнаружено и в других местах, снятой со столбов проволокой была забаррикадирована дорога, ведущая в лютеранскую церковь, недалеко от коей были расположены вооруженные патрули, чтобы не пускать народ на богослужение, в этот же день в Руене состоялся митинг, и были приняты меры, чтобы народ шел не в церковь, а на сходку. Шестнадцатого декабря почто-телеграфный надсмотрщик Лездин вместе с почтальоном Кукайном приступили к

исправлению поврежденной революционерами телеграфной линии. Во время работы подошел Рихард Озолин вместе с тремя неизвестными лицами, вооруженными, как и сам Озолин, и предложил прекратить исправление, заявив, что если его не послушают, то они явятся в большем числе и произведут новые повреждения. В виду подобных угроз работа была приостановлена.

Руенская революционная организация принимала также деятельное участие в проведении политической забастовки на Перново-Ревельском узкоколейном пути. В этом отношении предварительным следствием установлено нижеследующее:

«Десятого декабря 1905 года, в восемь часов вечера, со станции Мойзекюль по направлению к станции Валк был отправлен, согласно расписания, товаро-пассажирский поезд № 6, прибывший в Перново. Установленного телеграфного предупреждения о выходе поезда дать нельзя было, так как сообщение оказалось прерванным, железнодорожного телеграфа на Перново-Ревельском пути не существует. С этим поездом выехал из Мойзекюля конторщик Соболевский. По прибытии на станцию Руен, где уже находились местные революционеры, – и среди последних – Михаил Аболтин и Рихард Озолин, – Болеслав Соболевский стал разыскивать студента Аболтина, после переговоров с каким-то молодым человеком, заявившим, что он прислан Аболтиным. Соболевский сказал машинисту, что поезд дальше не пойдет. Ма-

шенист не имел возможности противиться требованиям революционеров, собравшихся около паровоза, тем более что один из них – Михаил Аболтин – в виде угрозы два раза выстрелил в воздух. Поезд около двенадцати часов ночи вернулся на станцию Мойзекуль, после чего в контору названной станции вошли три неизвестных лица, в сопровождении Болеслава Соболевского, и потребовав начальника станции Лугуса, в присутствии его и телефониста Юрисона передали в Пернов по телефону записку следующего содержания: «Номер 1032, по всем станциям Перново-Ревельского пути. Товарищи! Над нами произволы и насилия. Всероссийский желдорсоюз в своем заседании от восьмого декабря решил всеобщую политическую забастовку, чтобы дать последний удар остаткам самодержавия, с лозунгом — «Долой произвол и насилия. Да здравствует конституция. Об этом и объявляем. И вы, товарищи, как присоединившиеся к Всероссийскому железнодорожному союзу, должны поддержать ее, а именно прекратить все занятия с момента получения этого извещения. Помните, товарищи, кто не присоединится к этой забастовке, тот не солидарен со всем народом, со Всероссийским желдорсоюзом, тот враг народа и рано или поздно будет наказан. Всероссийский железнодорожный союз».

Этим актом началась политическая забастовка на Перново-Ревельском пути, длившаяся неделю, в течение которой движение поездов производилось лишь для революционных целей. Одним из проявлений преступной деятельности руен-

ских революционеров в конце 1905 года является организация Руенской городской думы и Руенского городского суда. Посад Руен, расположенный на казенной земле, не имел подобно соседним волостям органов самоуправления или выборного суда, из местных жителей избирался старшина, на обязанности которого лежал сбор казенного оброка с жителей посада и пересылка такового по назначению. Еще до революционного времени, в целях благоустройства посада, местным младшим помощником уездного начальника возбуждалось, в установленном порядке, ходатайство о присвоении Руену прав города, переписка по этому вопросу была представлена в министерство внутренних дел. Между тем, согласно постановления Рижского конгресса волостных делегатов, как было указано, во всех волостях начали создаваться новые учреждения на демократических началах. При обсуждении этого вопроса лицами, собравшимися в сельскохозяйственном обществе, мнения распались: одни стояли за подчинение Руена соседнему (Торнейскому) распорядительному комитету, другие – о выделении Руена в самостоятельную единицу. Последнее мнение восторжествовало. Тридцатого ноября 1905 года были созваны в помещение сельхоз общества жители посада Руен. На собрании был произнесен ряд речей, в коих собравшихся убеждали сместить законных должностных лиц посада в виду их непригодности, присвоить Руену городские права и избрать новых должностных лиц для исполнения административных и судебных функ-

ций. Собрание согласилось с предложением ораторов, и первого декабря в том же помещении происходили так называемые городские выборы, в которых приняли участие лица обоего пола, достигшие двадцатилетнего возраста. Несколько человек, — в том числе Лус, Клуцис и Дамбит, вероятно, уполномоченные предшествовавшим собранием или по собственной инициативе, — раздавали избирательные листки, на которых должны были быть написаны имена кандидатов для должностей городского головы, помощника головы, членов думы, секретаря последней, городских судей и кандидатов в судьи. Результат выборов был объявлен шестого декабря.

Того же шестого декабря состоялось первое заседание Руенской городской думы. Был прочитан заранее составленный проект постановления, которое и было принято. Было решено: причислить к городу всех живущих на земле посада и обложить городским сбором; эксплуатировать в пользу города расположенные на ярмарочном плацу лавки, освободить квартиру, безвозмездно занимаемую урядником в посадском доме, и отобрать от посадского старшины Пестмала делопроизводство и кассу. Для исполнения последнего пункта было назначено несколько лиц.

Вслед за этим те же лица отправились в посадскую канцелярию, придя в которую, Лукстин и Аус приказали рассыльному Заккису снять и вынести висевший на стене портрет государя- императора со словами: «Теперь его нам не нужно, рама может пригодиться».

В том же декабре 1905 года мировой судья 16-го участка Рижско-Вольмарского округа Андзауров, проживавший в Вольмаре, но временно заменявший мирового судью 16-го участка, камера которого находится в посаде Руене, в виду полученных сведений о происходящих в Руене беспорядках, письменно запросил об этом Карла Ауса, служившего, как и Ян Клуцис, при канцелярии 18-го мирового участка. В ответ Лус прислал письмо, в котором, между прочим, говорится: «это не верно, что у нас беспорядки, у нас теперь народный суд и народная милиция и все будет благополучно, если только не вмешается правительство. Все реформы идут мирным путем". Тем не менее г. Андзауров распорядился о присылке ему в Вольмар дел 18-го мирового участка. Среди последних было обнаружено производство о каких-то выборах и переписка, относящаяся к деятельности народного суда, на л а т в с к о м языке (разрядка автора). По просмотре знающим этот язык почетным мировым судьей фон-Книримом, документы эти, видимо, ошибочно и по недосмотру забытые Аусом и Клуцисом в делах, были отосланы в распоряжение военных властей. Участие упомянутых выше Ауса и Клуциса в революционных событиях описываемого периода оказалось также и в двух нижеследующих эпизодах, установленных предварительным следствием: руенский купец Генрих Титьенс, в виду объявленного ему на одном из митингов бойкота за распространение антиреволюционных изданий, обратился по этому поводу к Якову Краузе, который, в

свою очередь, посоветовал переговорить с Аусом и Клуцисом. При этом как Краузе, так и Аус и Клуцис заявили, что это зависит не от каждого из них в отдельности, а от «бюро», участниками коего они состоят. Бюро это Краузе и Клуцис называли «бюро самозащиты». При содействии участников руенского преступного сообщества, в окрестностях к Руену осуществлялась вышеприведенная резолюция Рижского конгресса от 19 ноября 1905 года.

Члены сообщества являлись в волостные дома на митинги, произносили там революционные речи, призывавшие к ниспровержению существующего строя, настаивали на немедленном смещении законных должностных лиц и на замене их, согласно решению конгресса, самовольно избранными «распорядительными комитетами» и «новыми волостными судами».

Выборы новых должностных лиц происходили под наблюдением руенских революционеров, находивших себе поддержку среди местных крестьян, преимущественно класса батраков. Значительное число лиц, избранных в состав названных учреждений, никакого отношения к революционному движению не имело; избрание совершалось, вопреки их желанию и несмотря на категорические протесты, благодаря давлению агитаторов, являвшихся на митинги, по большей части, вооруженными и не стеснявшихся грозить упорствующим явным насилием. О предстоящих митингах и о необходимости произвести новые выборы окрестное на-

селение оповещалось на собраниях в Руене. В течение декабря 1905 года, под руководством участников руенского сообщества, незаконные учреждения были введены в следующих волостях: Руенской, Торнейской, Аррасской, Мойзекюльской, Тенигской, Иппикской и Мецкюльской.

Активной деятельности новые учреждения почти не проявляли как по причине кратковременности их существования, так и в виду непонимания избранными лицами лежавших на них обязанностей. Приводились в исполнение состоявшиеся ранее в законном порядке постановления схода выборных о выдаче бедным пособия, уплате жалования писарю и т. п.

В некоторых волостях, – как например, в Руенской и Торнейской, – списки кандидатов, предположенных к избранию в состав незаконных учреждений, заранее составлялись в Руенском «бюро».

Вместе с участниками руенского сообщества в декабре 1905 г. в иппикский волостной дом приезжал Роберт Снедзе, который, будучи избран письмоводителем «распорядительного комитета», вел протоколы сходов, составил протокол об отобрании у законных должностных лиц делопроизводства и, наконец, поселился в иппикском волостном доме.

В 20 числах декабря местной полиции было прислано объявление временного прибалтийского генерал-губернатора, коим население призывалось оказывать содействие военным властям и выдавать агитаторов. Писарь Иппикской во-

лости Яков Страздин, вынужденный на время существования «распорядительного комитета» переселиться из волостного дома к своему родственнику, изготовил копии с означенного объявления и разослал их по волости. За этот поступок квартира Страздина подверглась нападению со стороны нескольких лиц, во главе с Робертом Снедзе и живущим в посаде Руене Рикардом Озолиным. Спасаясь от нападения, Страздин выскочил из окна второго этажа и при падении повредил себе ногу. Его подняли и отнесли в квартиру. При этом Снедзе и Озолин, упрекая Страздина в «содействии правительству» и в том, что он мешает «их действиям», грозили арестовать его и отправить в Руенское бюро. Около того же времени упомянутый Озолин, в разговоре с крестьянином Иппикской волости Индриком Купечи, сообщившим о приближении войск, высказал, «что следовало бы всему народу сплотиться и выступить против войск, так, как только борьбой можно добиться своего».

Так характеризует «прокурорский надзор» организацию, восставшим народом, своей власти.

Но во всем этом документе бывший военный прокурор Павлов прав лишь в том, что при содействии участников руенского «преступного», по его мнению, сообщества осуществлялись резолюции Рижского конгресса, – при чем осуществлялись, по моему мнению, к сожалению, недостаточно быстро и твердо; ни членов распорядительного комитета, ни членов нового суда никто не принуждал к исполнению обя-

занностей, но, будучи избраны преимущественно из батраков и рабочих, таковые сами стремились к исполнению этих обязанностей, дабы наладить дела своего самоуправления.

Что же касается выставления кандидатов в члены распорядительного комитета и нового суда, то царскому суду и прокурорскому надзору, при всей тщательности следствия и создания впоследствии 12-ти толстейших томов по нашему делу, все же непонятно было партийное руководство этим движением, – и в этом вопросе в настоящее время каждый комсомолец и пионер может дать этим «многоученым спецам» девяносто девять очков вперед, заявив, что, наверное, списки кандидатов предположенных к избранию лиц заранее составлялись в Руенском «бюро» не только по Торнейской и Руенской волостям, но по всем волостям.

Из всего сказанного видно, что восставший народ Прибалтики шаг за шагом, вооружаясь и создавая свою власть, завоевывал свои позиции.

Как уже было сказано, мы держали связь с прилегающими к нам районами, в том числе и с Эстляндией; эта связь выражалась, главным образом, – не придерживаясь формально резолюций Рижского и Ревельского конгрессов, – в совместных действиях и характеризуется тем же Павловым так:

«Политические беспорядки в Мойзекюльской волости, вследствие того, что население последней смешанное латышско-эстонское, явились результатом взаимодействия революционных организаций как латышских, так и эстонских.

В то время, как представители волостей с латышским населением собрались 19-го ноября 1905 года в Риге, эстонские делегаты съехались 27-го ноября в Юрьеве. Здесь представители эстонского населения разбились на две группы:

группу умеренных или Тенисоновскую, собрания которой происходили в помещении Общественного Собрания, известного под именем «Бюргермуссе», 2) группу крайних, заседавшую 27, 28 и 29 ноября в актовом зале императорского Юрьевского университета – зал этот носил специальное название «Аула», почему и группа собравшихся там делегатов получила название «группы Аула». Резолюция последней, приобщенная к настоящему делу, приближается по-своему содержанию к резолюции Рижского конгресса 19-го ноября. Находя, что невыносимое и паническое положение России может только в таком случае улучшиться, если теперешнее насильственное правительство будет свергнуто революционным народом, «группа Аула» призывает народ к борьбе с правительством, рекомендуя при этом, между прочим, нижеследующие средства:

немедленное учреждение как в городах, так и вне городов «революционного самоуправления»;

безусловное бойкотирование учреждений и представителей существующего правительства;

немедленное закрытие пивных и монопольных лавок, корчем, винных и пивных заводов;

бойкотирование военной службы «всеми мерами», име-

ющимися в руках народа, а именно – в случае, если рекруты будут отправляться насильно, защищать их соединенными силами по установленному плану; войску не давать помещения, фуража, продовольствия, подвод, озаботиться, чтобы поезда не перевозили солдат;

бойкот существующих судебных установлений и избрание на их место из среды народа – новых;

если начнется всеобщая политическая забастовка, поддерживать ее всеми способами, которые препятствуют действиям правительства;

добиваться всеми силами: освобождения политических страдальцев, удаления войск из Манчжурии, упразднения военных законов и судов, смертной казни, роспуска армии по домам и раздачи оружия народу; для сохранения нынешних и для приобретения новых прав следует вооружить по возможности весь народ и учредить в городах и волостных пунктах народное войско или милицию.

По мнению «группы Аула», предъявляющей требование об учреждении в России демократической республики, борьба с существующим правительством должна продолжаться до созыва Учредительного собрания на началах всеобщего, равноправного непосредственного, тайного выбора, без различия пола, лицами, достигшими 20-летнего возраста.

Аграрный вопрос, по постановлению группы, может быть разрешен только на основании социал-демократического

учения, а именно таким образом, чтобы вся страна, как и все орудия производства были превращены в общую собственность. Для этой цели делегаты находят нужным лежащие на податных сословиях повинности (например, исправление дорог, поставку подвод, регулятивные подати, работу для имений) отменить, равно как и особые права и преимущества мызных земель (право на рыбную ловлю и охоту, право постройки мельниц, майоратное право, право приготовления алкоголя и торговли им и прочее), церковные, монастырские, дворянские и казенные земли отобрать безвозмездно и разделить среди безземельных. Далее «группой Аула» постановлено, для улучшения жизни рабочих, осуществить свободу забастовки и созывов, бойкотировать паспортную систему и все документы, в которых приводятся сведения о сословии, и, наконец, избрать центральное бюро из пяти членов, которое в свою очередь тайно избирает заместительное бюро.

Таким образом, резолюции эстонских делегатов группы «Аула», постановленные в Юрьеве двадцать седьмого-двадцать девятого ноября 1905 года, как и резолюции Рижского конгресса латышских делегатов девятнадцатого ноября того же года, ставят конечной целью, как и социал-демократическая партия, путем насильственного захвата замену существующего в России государственного строя демократической республикой и общественного строя строем социалистическим».

Обрисовав совместные цели и задачи латышского и эстонского пролетариата, «прокурорский надзор» перечисляет ряд действий по установлению пролетарской власти на прилегающих к Латвии эстонских территориях.

Я не склонен останавливаться на общих фактах этих действий, но приведу и разъясню лишь два факта из них, для полноты общей картины, касающейся призывников.

Общие директивы партии, как видно из выдержек резолюций обоих конгрессов, в вопросе о новобранцах и обслуживания правительственных войск были таковы: «Бойкотирование военной службы всеми мерами, имеющимися в руках народа», а именно—в случае, если рекруты (новобранцы) будут отправляться насильно, защищать их соединенными силами, по установленному плану; войску не давать помещения, фуража, продовольствия, подвод; озаботиться, чтобы поезда не перевозили солдат".

Эти директивы партии всеми местными организациями, в частности—нашим „Полевым центром Пламя", были выполнены полностью.

Проведя широкую кампанию, с соответствующими резолюциями самих новобранцев, об отказе от военной службы и проч., надо было препятствовать отправке малодушных и „сынков" серых, услужливых слуг царскому правительству, баронов, а также помочь тем, которых на военную службу отправляли под конвоем.

Об этих событиях прокурорский надзор повествует так:

«Участники Руенского сообщества принимали всевозможные меры к тому, чтобы новобранцы призыва 1905 г. не явились на службу. С этой целью революционеры приходили на станцию Руен, уговаривали молодых людей не ездить, а не согласившихся вытаскивали даже из вагонов. Так, например, крестьянину Роберту Свикису, призванному на военную службу, пришлось три раза являться на станцию и лишь на четвертый удалось уехать. По удостоверению помянутого свидетеля, а равно и станционного весовщика Карла Янсона, в числе лиц, приходивших на станцию в целях препятствовать отъезду новобранцев, замечены: студент Аболтин, Лукстин, Рикард Рейн, Гуго Свикис и Михаил Аболтин.

Независимо от этого революционеры являлись в контору станции Руен и заставляли агентов дороги передавать по телефону в Пернов заведующему проездыми путями содержание записок, заключавших в себе требования: не выпускать воинских поездов, не перевозить почты, не продавать на станциях спиртных напитков и тому подобное. Записки оканчивались словами: «Да здравствует социал-демократия». Показаниями весовщика Янсона и трактирщика Буйлиса установлено, что для передачи указанных требований на станцию Руен являлись: один раз – Михаил Аболтин и Рикард Рейн, другой раз – Михаил Аболтин, Рикард Рейн и Гуго Свикис, в третий раз – М. Аболтин и Петр Пайст.

Шестого декабря 1905 года со станции Ревель Перново-Ревельского подъездного пути был отправлен, в сопрово-

вождении команды 90-го пехотного Онежского полка, под начальством подпоручика Дмитриева, воинский поезд с новобранцами для следования в Валк. Около 2-х часов утра седьмого декабря поезд прибыл на станцию Мойзекюль, где по установленному порядку производится смена паровоза и машиниста. Тотчас по остановке поезда к машинисту Бубенко, бывшему еще на паровозе, подошел конторщик местного начальника дистанции Соболевский и передал какую-то записку. Не читая последней, Бубенко передал ее стоявшему подле паровоза стрелочнику Пайю, полагая, что она относится к тому из машинистов, который поведет поезд дальше. Когда место Бубенко занял машинист Кук, стрелочник вручил последнему упомянутую записку. Текст записки оказался следующим: «Господам машинистам, едущим с новобранцами. Машинисты, предупреждаю вас от социал-демократического комитета везти обратно новобранцев. Если вы этого не исполните, то лишитесь жизни. Член комитета», — подписи не было.

Прибывшие новобранцы вышли из вагонов. Кто-то из публики, находившейся на станции, обратился к ним с речью, в которой указывалось на бедственное положение солдат. Когда, по распоряжению поручика Дмитриева, солдаты начали удалять с дебаркадера посторонних лиц, кем-то из последних был сделан выстрел, на который нижние чины, в свою очередь, ответили выстрелами. Однако, ни с той, ни с другой стороны раненых не оказалось.

В виду полученных сведений, что на станции Руен революционеры предполагают устроить демонстрацию, было сделано распоряжение миновать эту станцию без остановок.

Между тем руенские революционеры, получив сведения о предстоящем проходе воинского поезда, в количестве двадцати-двадцати пяти человек, из коих большая часть была вооружена ружьями, собрались на станции Руен 6-го декабря около 12 часов ночи.

По удостоверению Энзина, революционеры решили задержать новобранцев, имевших в ночь на седьмое декабря проехать мимо станции Руен. Для этой цели студент Аболтин заранее отправился на станцию Мойзекюль, а Лукстин собрал единомышленников в Руене. Около полуночи революционеры, вооруженные ружьями и револьверами, под командой Лукстина отправились на станцию. Среди них, помимо самого Энзина, по словам последнего, находились: Рейн, Грозин, Плотнек и портной Клявин. За некоторое время до прихода воинского поезда, Лукстин расположил свою команду подле станционного пакгауза, Рейн был оставлен на станции для уговора новобранцев. В случае, если бы последние не согласились остановить поезд, было решено по свистку Лукстина открыть стрельбу, чего, однако, по словам Энзина, сделано не было.

По описанию агентов дороги и чинов жандармского надзора, происходившие на станции Руен в описываемую ночь события представляются в следующем виде. Собравшиеся

около полуночи в зале третьего класса революционеры стали обсуждать, каким способом задержать воинский поезд, высказывалось мнение, что нужно положить на рельсы шпалы или вынуть из рельс костыли, при чем с просьбой добыть для этой цели инструменты революционеры обратились к сторожу Силину.

Руенский станционный жандарм Ковалько, подойдя к группе революционеров, спросил, для чего они здесь, на что Рейн и Лисиц ответили, что пришли воротить новобранцев... чтобы не ехали на службу. Перед приходом воинского поезда дежурный по станции Янсон заметил, что фонарь зеленого диска снят с своего места и поставлен на полотно дороги. Стрелочнику и слесарю было отдано приказание посмотреть, что случилось. Слесарь, однако, вернулся, так как не был пропущен вооруженными лицами. В виду возникшего предположения, что путь впереди поврежден, дежурный крикнул машинисту подходившего поезда – тормозить. Поезд остановился на ст. Руен около 4-х часов утра. По удостоверению жандармского унтер-офицера Ковалько, Рикард Рейн и некоторые другие пошли к вагону, а остальные революционеры отправились к пакгаузу.

Поезд остановился таким образом, что паровоз находился несколько впереди пакгауза. Между поездом и пакгаузом на запасном пути стояли пустые товарные вагоны. После остановки подпоручик Дмитриев с нижними чинами отправился вдоль поезда по направлению к паровозу. Впереди

шел жандармский унтер-офицер Савосько, командированный для сопровождения команды. Поравнявшись с товарными вагонами, Савосько заметил в одном из них людей, которые тотчас стали выбегать. Кто-то из них выстрелил. Солдаты, в свою очередь, открыли стрельбу. Один из убежавших, будучи поранен, упал; подошедшие солдаты отобрали у него двухствольное ружье, заряженное на оба ствола. Оказалось, что поранен Эдуард Грозин.

В то же время подле пакгауза был задержан Эдуард Клявин, при обыске у которого найдено: заряженный револьвер, листки со стихами революционного содержания (из них один – издания «Латышской С.Д. Рабочей Партии»), несколько ружейных патронов и, наконец, объявление, напечатанное гектографическим способом, за подписью: «Полевой центр Пламя», – о предстоящем седьмого декабря в посадке Руен испытании оружия. При отходе поезда со станции Руен на расстоянии ста шагов от последней было усмотрено бревно, положенное поперек пути – заграждение было убрано, и поезд беспрепятственно прибыл в 7 часов утра на ст. Валк. На стенке одного из вагонов был обнаружен свежий пулевой след, очевидно, от выстрела, сделанного революционерами в Руене.

Арестованный Клявин по доставлении в Валк был передан в распоряжение местных полицейских властей.

Между тем Эдуард Грозин, оставленный в Руене для оказания ему медицинской помощи, был отнесен в лазарет док-

тора Вольфа, а вечером того же дня, при содействии своих товарищей, отправлен в Юрьев для дальнейшего лечения. Перенос раненого на станцию сопровождался пением революционных песен».

В таком виде описывает прокурорский надзор события с новобранцами, между тем дело обстояло далеко не так. Как я уже сказал, решения Рижского и Ревельского конгресса местными организациями исполнялись в точности. Собрав новобранцев и проведя среди них соответствующие резолюции об отказе идти на военную службу, наши патрули со всех проходящих и пропускаемых нами поездов снимали всех тех из новобранцев, которые не подчинялись общим решениям новобранцев; таковых, к нашему счастью, оказалось всего лишь пять-шесть человек из всего района.

Что же касается новобранцев, отправляемых из Эстляндии целыми эшелонами, то с ними обращались так: из части прилегающей к нам Эстляндии, по линии железной дороги Ревель- Мойзекюль, Руен-Валк-Псков, новобранцев, забранных и помещенных в казармы, направляли на службу в сопровождении «дядьков» (ефрейторов), вооруженных штыками а впоследствии, как арестованных, в сопровождении усиленной охраны – солдат. Так как вся эта железнодорожная линия, как увидит читатель впоследствии, находилась в наших руках, то понятно никаких воинских поездов мы не пропускали.

Так, еще в конце ноября и в начале декабря по директиве

«Полевого центра Пламя» два эшелона с новобранцами были задержаны на ст. Мойзекюль и отправлены обратно; третий эшелон, о котором идет речь, сопровождался командой Онежского полка под начальством подпоручика Дмитриева в пятьдесят человек вместе с отрядом в двадцать-тридцать человек жандармов.

Узнав об этом эшелоне, мы немедленно же выслали отряд из пяти-семи вооруженных ответственных товарищей на станцию Мойзекюль, для воспрепятствования дальнейшему продвижению поезда и предупреждения сопровождающей команды, что поезд без боя через Руен пропущен не будет. Одновременно с этим, из свободных от караулов, патрулей и тому подобное людей, был немедленно собран отряд человек в тридцать и под моим командованием направлен на станцию Руен для принятия необходимых мер к недопущению продвижения поезда, если паче чаяния последний проскочит станцию Мойзекюль. На товарища Лукстина было возложено общее руководство отрядом; последний, будучи занят рядом других дел, должен был прибыть на станцию к приходу поезда.

Прибыв со своим отрядом на станцию и выделив необходимых товарищей, я распорядился испортить путь, для чего у рабочих станции были взяты соответствующие инструменты; остальной части отряда было приказано расположиться около испорченного пути по обеим сторонам дороги, забаррикадировав себя шпалами; товарищ Лисиц и я должны бы-

ли оставаться на станции и вести переговоры как с сопровождающими солдатами, так и с новобранцами о возвращении их обратно и, в случае надобности, посредством свистка сигнализировать отряду «быть готовыми» или «оставить».

Сколько именно человек и какая охрана сопровождает поезд, мы не знали.

Будучи уверен, что моим отрядом, как и всегда, распоряжения исполняются в точности, я, прогуливаясь с товарищем Лисиц по перрону, ожидал донесения об исполнении распоряжения.

В это время станционный служитель позвал меня к телефону, оказалось, что меня вызывал из Мойзекюля Аболтин, который заявил, что хотя поезд еще не прибыл к Мойзекюль, но, по полученным сведениям, его провожает сильный отряд солдат и жандармов и что вряд ли они сумеют его задержать.

Получив такое извещение, я, разумеется, сразу понял, что с отрядом в 30 человек, вооруженных охотничьими ружьями и револьверами, мне поезда с новобранцами, охраняемыми солдатами, задержать не удастся, и поэтому мною сейчас же было отдано товарищу Кальценау (из моего отряда) распоряжение отправляться к первому попавшемуся волостному постовому и истребовать подкрепление в 50 человек.

Тут необходимо пояснить: во всех волостях на дорогах стояли постовые, которые, при предъявлении соответствующих документов «Полевого центра Пламя», немедленно давали необходимый сигнал следующему постовому, в резуль-

тате чего в полчаса можно было собрать не только потребное нам количество вооруженных людей, но и всю нашу «армию», которая, по определению генерала Орлова, равнялась двенадцати тысяч кавалерии и двадцати тысяч пехоты, по нашим данным – «немного» меньше.

Сделав это распоряжение, мы с Лисиц прогуливались по перрону в ожидании поезда, дальнейших сообщений из Мойзекюля и прибытия подкрепления. Время шло, а подкрепление все не прибывало. Издалека был уже слышен свисток подходящего поезда, и мы готовились его встретить, как полагается.

В этот момент прибежал Лукстин и осведомившись о том, что предпринято, направился в сторону испорченного пути для проверки.

Поезд уже приближался, когда я увидел на пути в том месте, где должна была быть испорчена железная дорога, сигнальный фонарь, меня это встревожило и я обратился к станционному рабочему, который вернулся с инструментом, с вопросом, что это значит. Он ответил:

– Так велел Лукстин.

Поезд подходил, и больше не было времени проверять, в чем дело, возвратившийся к этому моменту Лукстин на поставленный мною вопрос ответил:

– Не беспокойся, все в порядке.

Не дав поезду остановиться, мы с Лисиц сейчас же вскочили на подножки первых двух вагонов и пробрались в ва-

гоны для переговоров с новобранцами – последние с радостью готовы были ехать обратно, но заявили, что они едут под конвоем. Спросив, сколько провожатых, и не получив тотчас ответа, я направился в следующий вагон; не успел я выйти на площадку и закрыть за собой дверь, как увидел, что около подножки стояло человек пять-шесть солдат, направивших на меня дула винтовок со штыками. Я схватился за револьвер, находившийся в правом кармане, и стал выжидать.

Должно быть, боясь, что первая пуля раздробит голову ему, станционный жандармский унтер-офицер, обратившись к солдатам, сказал:

– Это не он, – и крикнув мне – Уходите! – повел отряд дальше.

Спрыгнув с подножки и увидав, что команда, сопровождавшая поезд (она уже вся была в боевой готовности), превысила наши предположения, я, зайдя за угол станционной будки, дал дружинникам сигнал «оставить», то есть держаться смирно и не стрелять, но в тот же момент раздались отдельные выстрелы, а затем разразилась целая винтовочная и оружейная канонада. Несколько минут спустя поезд тронулся, и в результате перестрелки мы имели одного раненого (Грозин), которого мы подобрали и отнесли в больницу, и одного арестованного (Клявин).

Минут пять спустя по отходе поезда прибыло наше подкрепление в пятьдесят-шестьдесят человек.

Оказалось, что Кальценау, посланный за подкреплением на подводе, при поломке оси не сообразил распрячь лошадей и поехать верхом, а переменял подводу в одной из близ находящихся усадеб.

Выясняя впоследствии причины, почему железнодорожный путь не был разобран, мне удалось установить, что тов. Лукстин, подходя к дружинникам, разрушавшим полотно дороги, и увидя, что по одной стороне рельс вынута уже семь костылей и что дружинники намерены разобрать путь в две рельсы, а также не зная полученных мною сведений, что новобранцев сопровождает сильный отряд солдат и жандармов, распорядился эту работу оставить и положить поперек рельс лишь несколько шпал, водрузив на них сигнальный фонарь, предполагая, что никакого боя тут быть не может и мы задержим этот поезд, как и два предыдущих, путем обращения с агитацией к новобранцам и угрозой к машинисту, поэтому и остальная часть моего отряда оказалась не в районе разбираемого пути, а на запасной линии – в пустых товарных вагонах, против предполагаемой стоянки паровоза.

Понятно, что два противоположных распоряжения неизбежно должны были привести к неудаче. И солдаты, сопровождавшие поезд, будучи предупреждены жандармским унтером Ковалько еще в Мойзекюле о нашем намерении задержать поезд, сейчас же направились к этим вагонам, а наши ребята, видя, что борьба с таким сильным отрядом будет им не под силу, решили с боем отступить, вследствие чего и

возникла перестрелка.

Так как отступить отряду пришлось вдоль железно-дорожного „пакгауза“ (склада), а затем—выйти в открытое поле, то понятно, что даже при ночной темноте силуэты людей различить было нетрудно, вследствие чего тов. Грозин, очутившись в поле, и был тяжело ранен в ногу рикошетом пули, раздробившей кость, товарищ Клявин же, не успев выбраться своевременно из вагона, оказался окруженным со всех сторон и был арестован.

Оставалось лишь пожалеть о неудаче, – тем более, что эта операция могла нам дать пятьдесят винтовок и штук тридцать револьверов с боевыми патронами, в которых мы так нуждались.

Этот провал наша организация приписывает отчасти ошибке Лукстина, отчасти недостаточной подготовленности к этой операции.

Отнятое при разоружении помещиков, кулаков, жандармов и полиции изрядное количество оружия было, однако, по большей части охотничье; разумеется, с этим оружием вступать в борьбу с правительственными войсками, которые рано или поздно должны были прибыть, было невозможно. В виду этого необходимо было запастись винтовками и пулеметами. Это мы предполагали добыть, обезоружив, находившийся в восьмидесяти верстах от нас гарнизон города Пернова и пограничную стражу, а также расположенное по дороге к Пернову имение Тигниц, в котором, по словам мой-

зекюльских товарищей, находилось до пятидесяти солдат, вызванных управляющим имения для охраны.

Прежде чем описать этот момент, я приведу новые выдержки из заключения того же «прокурорского надзора» как о нашей связи с Мойзекюлем, так и о предполагаемом разоружении перновского гарнизона.

«Независимо от сношений с салисбургскими революционерами, участники руенской противоправительственной организации вошли в сношения с революционными элементами посада Мойзекюль, расположенного, как и Руен, на линии Перново- Ревельского подъездного пути. Дважды в Мойзекюле происходили митинги, на которых выступали приезжие из Руена агитаторы. Третьего декабря на станции Мойзекюль прибыли проездом из Пернова новобранцы... К этому времени на станцию явились Сихвер, Коллист, Соболевский, а также приехавшие из Руена студент Аболтин и Петр Пайст. Указанные лица стали убеждать новобранцев не ездить на службу, со станции агитаторы повели новобранцев в находившийся поблизости дом Витина, где продолжали уговаривать их вернуться по домам. Результатом агитации было то, что новобранцы вынудили железнодорожное начальство отправить поезд обратно в Пернов.

Седьмого декабря утром упомянутый Соболевский передал сопровождавшему поезд с новобранцами записку, в которой предъявлялось требование от имени социал-демократического комитета под угрозой смерти вести поезд обратно.

Этот поезд подвергся нападению по прибытию на станцию Руен со стороны местных революционеров.

Вечером десятого декабря на линии Перново Ревельского пути была объявлена политическая забастовка, и движение по дороге было прекращено до семнадцатого декабря. Когда одному из рабочих, служивших на станции Мойзекюль, потребовалась дрезина для поездки в Валк и начальник дистанции Полонский отказал в выдаче дрезины, заявив, что дорога находится в руках революционеров, упомянутый рабочий, по имени Симон Борн, обратился к Сихверу, по записке которого получил дрезину. Проезжая мимо Руена, Симон Борн был остановлен вооружёнными людьми, которые, однако, пропустили его, прочтя выданную Сихвером записку.

Одиннадцатого декабря в посаде Мойзекюле под руководством Сихвера состоялся митинг, Сихвер, стоя на балконе, у которого был прикреплен красный флаг, огласив резолюции, постановленные «группой Аула», произнес речь, призывавшую к восстанию против существующего правительства, сказав, между прочим, что государь и монархическая власть сосут народ, как двуглавая змея. Еще во время митинга Симон Аус, вместе с другими лицами, отправился закрывать торговые заведения (читай—пивные и „казенки"—*P. P.*). После митинга толпа, по предложению Сихвера, вместе с ним, Коллистом и Аусом, отправились к посаду, прежде всего была закрыта пивная лавка Петра Фрейвальда, при чем

Сихвер, вместе с Коллистом, прибили к дверям лавки объявление, гласившее, что лавка закрывается по требованию народа до издания новых законов. Оттуда, с пением революционных песен, толпа направилась в квартиру местного полицейского урядника Рейде и жандарма Константинова, с целью отобрать у них оружие. За отсутствием обоих, квартиры их были обысканы. После этого была закрыта казенная винная лавка, при чем Сихвер и Коллист прикрепили к дверям объявление такого же содержания, что и к пивной лавке.

Тринадцатого декабря вооруженная толпа в несколько сот человек, состоящая из окрестных крестьян, под руководством руенских революционеров по железной дороге отправилась в имение Тигниц, Перновского уезда, и отобрала находящееся там оружие. Руководители Руенской организации, имевшие сношение с перновскими революционерами, предполагали отправиться в Пернов для обезоруживания местного гарнизона. В виду забастовки на железной дороге, необходимый для поездки поезд был доставлен со станции Мойзекюль в Руен при нижеследующих обстоятельствах: двенадцатого декабря на станцию Мойзекюль прибыл известный в Пернове революционный деятель Табакин. Вместе с учителем Сихвером и двумя неизвестными лицами Табакин отправился к инженеру Яловецкому, занимающему должность начальника тяги и мастерских Перново-Ревельских подъездных путей. Сихвер предъявил Яловецкому записку за подписью председателя Перновского социал-демо-

кратического комитета Либиха, в которой предлагалось оказывать предъявителям записки содействие, и потребовал назначить поезд до станции Руен и затем обратно в Пернов. Получив отказ, Сихвер и его единомышленники удалились. Явившись в контору начальника станции в сопровождении тех же лиц, Сихвер написал на клочке бумаги о назначении поезда до Руена и Пернова, приложив штампель начальника станции. С этой запиской, переданной помощнику машиниста Уэссому, последний пришел к начальнику тяги Яловецкому, который запретил по этому назначению ехать. Тем не менее Табакин, а с ним вместе и конторщик Соболевский отправились с поездом в Руен, откуда и вернулись в тот же вечер. В конторе станции Мойзекюль состоялось совещание, в котором приняли участие Сихвер, Соболевский, Табакин и прибывшие с ним из Пернова неизвестные лица. Во время совещания к дверям конторы, по распоряжению Сихвера, были приставлены вооруженные лица. Того же тринадцатого декабря Табакин уехал в Пернов.

Утром тринадцатого декабря Ян Сихвер, вместе с проживавшими на станции Мойзекюль машинистами, явился на квартиру инженера Яловецкого, и, отрекомендовавшись председателем Мойзекюльского отделения социал-демократического комитета, просил назначить поезд для следования в Руен, необходимый для перевозки войск. На вопрос Яловецкого – какого войска, Сихвер ответил:

– Нашего.

Яловецкий спросил:

– То есть революционного?

На это Сихвер сказал:

– Да.

В это же время Сихвер добавил, что в случае неисполнения требований, Мойзекюль будет, по распоряжению Руенского комитета, в тот же день разгромлен. Когда со стороны Яловецкого последовал категорический отказ, Сихвер с иронией заявил, что они возьмут паровоз и без разрешения и что Яловецкий обязан им содействовать, так как они охраняют Мойзекюль от грабителей, добавив также, что он объявил ему распоряжение своего комитета из любезности. Вслед затем Сихвер, собрав машинистов в порожний вагон, предложил им кинуть жребий, кому из них вести поезд в Руен – жребий пал на Бубенко, Кука, Молдера и Ясевича. Независимо от этого, Сихвер принял на себя руководство в составлении поезда.

Около полудня со станции Мойзекюль был отправлен поезд при двух паровозах в составе восьми классных вагонов, шести товарных и нескольких багажных.

В то же время Симон Лус, бывший деятельным помощником Сихвера, вербовал среди мойзекюльских жителей людей для совместной с руенскими революционерами поездки. Собравшимся в доме Ватина Симон Лус объяснил, что вечером приедут руенцы, отправляющиеся сначала в Квелленштейн, а затем в Пернов, и что те, которые откажутся с ними ехать,

будут впоследствии застрелены. Лус ходил по квартирам и собирал оружие у людей. За день или два до этого к владельцу мойзекюльской аптеки — провизору Левину явился Сихвер и предложил последнему заготовить все имеющиеся у него перевязочные материалы, на его вопрос — для чего, Сихвер ответил, что это не его дело.

Между тем тринадцатого декабря 1905 года в посаде Руен собралось значительное количество окрестных крестьян, созванных местным революционным бюро. Сюда же прибыла салисбургская народная милиция, под предводительством Кришьяна Боч. Последний рассылал по имениям и волостям требования о высылке ему определенного количества людей, требования эти исполнялись беспрекословно, в виду опасности подвергнуться со стороны революционеров какому-либо насилию. Большинство прибывших в Руен лиц было вооружено, и они собрались в помещении сельскохозяйственного общества. Находившийся здесь студент Емелья Аболтин объяснил собравшимся, что предстоит поездка в имение Тигниц для отобрания оружия у находившихся там помещиков и солдат, что солдаты сами отдают оружие, а с помещиками будет перестрелка, что оружие нужно для сопротивления войскам и что последним, в случае их прихода, не должно отпускать фуража. Далее Аболтин заявил:

– Пусть едут те, которым жизнь не дорога, – и приказал зарядить ружья.

В свою очередь, Яков Краузе разъяснил присутствующим

о необходимости разоружения черной сотни.

Помимо того, среди собравшихся в Руене крестьян ходили слухи, что целью поездки является также отобраение оружия в Пернове, о столкновении с какими-то грабителями и тому подобное. Многие из тех, что прибыли в Руен позднее и сами не слышали объяснений руководителей, не отдавали себе ясного отчета о цели предстоящей поездки. Между тем революционеры готовились к вооруженному столкновению и для этой цели организовали «Отряд Красного Креста», насильственно захватили с собой местных врачей Вольфа и Эльцберга, сестер милосердия и так далее.

Из сельскохозяйственного общества вооруженная толпа с красными флагами и пением революционных песен отправилась на станцию. Около четырёх часов дня из Мойзекюля прибыл поезд, составленный, как было описано, по настоянию учителя Сихвера. По распоряжению студента Аболтина, Лукстина, Краузе и Боча вооруженные люди были размещены по вагонам, при чем в вагон II класса были посажены врачи и отряд Красного Креста. Руководителями поездки были студент Аболтин и Кришьян Боч. По отправлении поезда со станции Руен в вагон, где находились врачи, вошел студент Аболтин и сообщил, что они едут на Пернов, так как на перновском рейде стоит корабль с оружием, предназначенным для революционеров, но для получения этого оружия необходимо будет обезоружить сначала перновский гарнизон и полицию. На станции Мойзекюль к участникам поезд-

ки присоединилось около ста вооруженных лиц из местных рабочих и крестьян (читай – батраков), которыми командовал Симон Лус. В мойзекюльской аптеке были взяты перевязочные материалы, ранее заказанные учителем Сихвером, после чего поезд двинулся дальше. В семь часов вечера поезд отправился со станции Мойзекюль и около одиннадцати часов остановился неподалеку от имения Тигниц, принадлежащего фон-Стрику. Большинство ехавших в поезде лиц направилось к имению и только незначительная часть, в том числе врачи и женщины, остались в поезде. Завидев подъезжавшего к имению лесничего Альфонса Засса, революционеры стали в него стрелять, при чем поранили левую ногу, рана по освидетельствованию оказалась легкой. Ворвавшись в дом, революционеры потребовали от управляющего имением Артура Вольфа выдачи оружия, после чего обыскали жилые помещения и подвалы и выбрали все найденное оружие, револьверы, ружья и патроны, всего на сумму около пятисот рублей, отобрали также была небольшая старая пушка, по уходе революционеров было обнаружено похищение и другого имущества: кошелек с пятьюдесятью рублями денег, золотых часов, бинокля, охотничьего ранца с топором и других мелких вещей, принадлежащих служащим имения. Революционеры пытались также сломать денежную кассу, но это им не удалось. Совершенно случайно в имение Тигниц, во время нахождения там злоумышленников, прибыл младший помощник перновского воинского начальника

Петкевич, у которого тотчас же был отобран револьвер.

От имени Тигниц, где злоумышленники перед уходом порвали телеграфные провода, поезд отправился на станцию Квелленштейн. Здесь, по требованию студента Аболтина, начальник станции Енде выдал находившийся в пакгаузе ящик с водкой, которая была распита революционерами. В принятии водки Аболтин выдал расписку, подписав последнюю – предводитель милиции Е. Аболтин. Находившиеся подле станции телеграфные провода были революционерами порваны и один телеграфный столб спилен.

Возник вопрос – ехать ли дальше на Пернов или возвратиться назад. Толпа долго шумела и спорила, было решено отправить паровоз вперед на разведки, а самим вернуться на станцию Мойзекюль. Отправленный на разведки паровоз доехал до станции Сурри и вернулся назад, так как ехавшие на нем революционеры испугались двух солдат, встретившихся на пути. Тем временем поезд со станции Квелленштейн прибыл на станцию Мойзекюль, где уже находились прибывшие из Пернова на лошадях делегаты-революционеры и в числе их упомянутый Табакин. Представившись врачу Вольфу в качестве «коллегии из Пернова», Табакин рассказал, что накануне, то есть двенадцатого декабря, ездил в Руен приглашать местных революционеров для нападения на перновский гарнизон. На станции Мойзекюль вновь был поднят вопрос, ехать ли в Пернов. Решили возвратиться в Руен, куда поезд прибыл четырнадцатого декабря...

Руенская революционная организация действовала заодно с эстонскими, и Мойзекюль, находящийся между Руеном и Перновом, был как бы связывающим звеном.

Около того же времени в посад Мойзекюль, в трех верстах от мойзекюльского волостного дома, явились Петр Пайст и Михаил Аболтин, проживавшие в Руене, и заявили содержанию местной пивной лавки Петру Фрейвальду, что Сихвер жалуется, будто ему грозят смертью за закрытие лавок со спиртными напитками, между тем Сихвер не виноват в этом, так как он исполняет их приказания. Когда Фрейвальд потребовал письменного распоряжения о закрытии лавки, то Михаил Аболтин хотел было написать соответствующую записку, но, как оказалось, не имел при себе печати Руенского «бюро». Из приведенного разговора Аболтина с Фрейвальдом явствует, что происходившие одиннадцатого декабря 1905 г. в посаде Мойзекюль беспорядки – митинг, закрытие пивной и винной лавок, шествие по посаду с красным флагом и попытка обезоружить представителей местной власти – были результатом последовавших из Руена указаний, где того же одиннадцатого декабря имела место аналогичного характера демонстрация и обезоруживание всех чинов полиции.

Как видно из приведенных выше фактов, одной из задач участников Руенского общества было – запастись возможно большим количеством оружия и таким путем приобрести боевую силу для выступления против правительственной вла-

сти. Следствием установлено, что революционеры иногда открыто высказывались по этому поводу, так, посланные Руенским «бюро» патрульные, находясь на местной конно-почтовой станции и беседуя с ямщиками последней о деятельности «бюро», объяснили, что оружие собирается для борьбы с войском. При отбирании оружия в имении Мойзекюль революционеры точно также в разговоре со служащим имения Спрингисом, поинтересовавшимся, для чего может пригодиться оружие, которым нельзя и зайца убить, и спросившим, что они сделают с таким оружием против солдат, – ответили, что солдаты будут с ними заодно, и тогда царь против них, «как копейка против рубля». В середине декабря стали открыто говорить, что оружие собирается против войск. Стали ходить слухи, что революционеры выбрали места, которые предполагалось укрепить для встречи солдат. Представляется несомненным, что подготовлялось вооруженное восстание путем создания народной милиции, целью которой была борьба с «черной сотней». Под именем же последней в декабре 1905 г. понимались все те, что были против социалистов. Организованные Руенским «бюро» ночные патрули по Руену имели своей задачей не только охрану от воров, но и наблюдение за тем, чтобы в Руен не проникали шпионы или «черная сотня». Точно также средством политической борьбы были забастовки. Руенское «Бюро Пламя» распорядилось – и в декабре, в течение трех дней, деятельность торговых заведений была приостановлена. Независимости

мо от объявлений о предстоящих митингах и забастовках, «бюро» печатало и распространяло через участников сообщества воззвания, в которых населению предлагалось бойкотировать войска и чиновников, не давать им ни квартир, ни продовольствия, не исполнять их приказаний, укрывать оружие и не выдавать представителей. Чувствуя себя в Руене полными хозяевами, революционеры не выпускали никого из пределов Руена без особого разрешения. Присылаемые на станцию Руен товары без особой записки «бюро» не могли быть выдаваемы на руки. Обстоятельства эти удостоверены мещанином Леопольдом Кюнсом и аптекарем Карлом Рументом, так как для Кюнса соответствующая записка была составлена Рихардом Рейном и подписана студентом Аболтиным. Рументу же записку выдал. Лукстин.

Узнав однажды, что на станцию Руен доставлен ящик с оружиейными припасами, компания вооруженных революционеров, среди которых находились Михаил Аболтин, Рихард Рейн и Яков Спрогис, отобрала его у отправителя, причём Рейн выдал в получении расписку и объяснил, что это им годится. Руенское «бюро» не только принимало различного рода заявления, но и отменяло распоряжения законных властей. Следствием установлен следующий факт: у крестьянина Адама Озера в качестве пастуха служил Ян Аттар, на жалование которого Ересским волостным правлением был наложен арест за невзнос платежей (читай – поголовного налога – *Р. Р.*). Отец пастуха, желавший получить на руки жало-

ванье сына, обратился в «бюро», которое и выдало ему записку, подписанную М. Аболтиным, для получения от Озера следуемого ему жалованья. Игравшее столь видную роль в событиях описываемого периода Руенское «бюро» помещалось в доме Карла Кальценау, в квартире, снятой 20-го ноября Рихардом Рейном и Эдуардом Грозиным, из коих последний был поранен седьмого декабря на станции Руен при нападении на воинский поезд»

Так описывает в своем заключении царский прокурорский надзор нашу связь и совместные выступления с эстонскими товарищами, стремясь доказать, что были революционеры по доброй воле и революционеры по принуждению, забывая, однако, что им же и в том же заключении сказано, что Аболтин, разясняя цель поездки в имение Тигниц и в Пернов, выбросил лозунг: «Пусть едут те, которым жизнь недорога».

Именно так и был поставлен вопрос с самого начала вооруженного восстания: «Пусть участвуют в нем те, кому жизнь недорога», которые, жертвуя своей жизнью, сумели бы создать жизнь лучшую, жизнь светлую для других. Каждый из идущих в бой знал, на что он идет и почему идет, никакой недоговоренности и недомолвок в этих вопросах никогда не было и быть не могло, и если впоследствии прокуроры и военные суды царского правительства проводили (или по крайней мере стремились проводить) какую-то грань между восставшими рабочими и батраками, стремясь из них сделать

революционеров и революционеров в кавычках, то они или просто сами себя обманывали или не понимали, что творили. Далее, не меньшим абсурдом было приписывать пропажу кошелька с пятьюдесятью рублями и золотыми часами революционному отряду в шестьсот-семьсот человек, который, имея власть в своих руках, при малейшем желании воспользоваться драгоценностями и имуществом прибалтийских баронов, мог бы в любом имении нагрузить этим подводы и увезти для раздачи неимущим, но в задачу военно-полевых и военных судов и карательных отрядов, творивших свою расправу над прибалтийским пролетариатом, не входило в обязанность учесть это, для них важно было лишь подобными недоказанными фактами, трубя о них по всем своим газетам, опозорить восставший народ. Однако, как оказалось впоследствии, и для царского суда аргументы одного лишь прокурорского надзора не могли служить основанием для этих обвинений – требовались неопровержимые доказательства свидетелей, которых, однако, не оказалось.

Но оставим эти мелочи и подойдем к существу дела.

Как я уже сказал, нам необходимо было раздобыть оружие во что бы то ни стало, хотя бы для этого потребовалось пожертвовать многими товарищами, поэтому, предприняв поездку для разоружения гарнизона Пернова и пограничной стражи, мы прекрасно учитывали, что ехать в расположенный в восьмидесяти верстах от нас уездный город – шаг далеко не безопасный для всего отправленного туда плохо во-

оруженного отряда.

Установив тесную связь с перновской организацией, а через нее и с рабочими фабрик и заводов, мы предполагали, что первой будут приняты соответствующие меры к содействию нам со стороны рабочих и что перновская организация вышлет нам навстречу компетентную делегацию, которая нас проведет в Пернов с таким расчетом, чтобы мы могли немедленно оцепить казармы и места расположения полиции и пограничной стражи, указанные в прокурорском заключении слухи о каких-то кораблях с оружием тоже имели некоторое основание, ибо предполагалось, что к этому же времени из Финляндии прибудет пароход, нагруженный оружием. В соответствии с этими предположениями, к двенадцатому декабря 1905 года в самом местечке Руен, и в окрестностях последнего и Салисбурга, было сконцентрировано несколько отдельных боевых отрядов из восставших, в общей сложности около пятьсот-шестьсот человек, преимущественно из рабочих и батраков, означенные отряды были вооружены лучшим оружием, имевшимся в нашем распоряжении.

Одновременно с этим в посаде Мойзекюль товарищами Сихвером и Симоном Аусом должен был быть организован дополнительный отряд человек в сто-сто двадцать из рабочих железнодорожных мастерских и батраков ближайших хуторов и имений. Весь укомплектованный таким порядком отряд, сконцентрированный в местечке Мойзекюль, с опи-

санным прокурорским надзором поездом, был разбит на три основных группы: командование отрядом первой группы было возложено на меня, командование второй группой – на товарища Эдуарда Байлита и во главе третьей Мойзекюльской группы стал товарищ Симон Аус. Общее руководство всем отрядом было поручено Емельяну Аболтину и Кришьяну Бочу.

С отошедшим со станции Мойзекюль поездом отряд двинулся по направлению к городу Пернову, остановившись по дороге в лесу, примерно в одной версте от имения Тигниц, которое предполагалось обезоружить по пути, так как, по имевшимся у нас сведениям, там должно было находиться для охраны имения около пятьдесят солдат да десятка два верных барону лесничих. Высадившись и оставив лишь небольшой отряд для охраны поезда, мы прошли, со всеми предосторожностями, через лес, по дороге, ведущей к имению, и распределившись по заранее установленному плану на отдельные группы и маленькие отряды, с разных сторон цепью стали подходить к имению, группа товарищей должна была в первую голову занять все ходы и выходы барского здания, остальные – оцепить самое здание, с таким расчетом, чтобы все окна находились бы под обстрелом наших дружинников; таким же образом должны были быть окружены и остальные здания и пристройки и, наконец, на всех дорогах, ведущих к имению, были выставлены особые караулы. Все отряды и отдельные группы имели пароль и отзыв.

Подойдя почти вплотную к имению, часть из наших товарищей увидела отъезжающие от имения подводы, седоки которых, будучи окликнуты, немедленно открыли огонь по нашим товарищам, те, в свою очередь, ответили выстрелами. В результате один из седоков, оказавшийся лесничим, был ранен; на подводе оказалось изрядное количество патронов и других боевых припасов.

Выделившаяся для занятия барского помещения группа товарищей, в том числе и я, подойдя к черному ходу, постучалась в дверь, но, к сожалению, ее никто не открывал и, следовательно, пришлось работать прикладами, чтоб ее вышибить, не помню, от наших ли ударов или кто-то неслышно изнутри открыл ее, но через несколько секунд дверь оказалась открытой, Пробираясь при свете спичек (свечей мы не догадались с собой захватить) по нижним коридорам и черной лестнице наверх, мы приступили к обыску. Кто-то из прислуги шепнул нам, что солдат нет и что оружие имения спрятано наверху. Обыск не дал ожидаемых результатов, и мы, осмотрев все здания и пристройки и забрав обнаруженное оружие и боевые припасы, в том числе и одну пушку старого образца, уже было собрались уходить, как группа бабтраков имения сообщила нам, что в углу кабинета управляющего – в шкафу, замуравленном в стене, спрятано большое количество оружия.

Осмотрев шкаф и убедившись, что его можно взломать лишь при усиленной работе ломом или подрывными снаря-

дами, каковых мы не имели, мы потребовали от управляющего именем ключи, но получив ответ, что таковые находятся у барона, приступили к взлому. Проработав в поте лица около двух с лишним часов и пробив в стене дырку, в которую с трудом мог пролезть лишь наименьший из нас ростом, мы убедились, что дальше идет железная дверь, и что, если даже мы пробьем дырку настолько, чтобы туда могло пробраться несколько наших товарищей, то тем не менее мы с этой дверью не справимся. Поэтому начатую работу пришлось бросить, и, не теряя времени, мы собрали отряд, чтобы отправиться к поезду для дальнейшего следования.

После того, как мы снова разместились по вагонам, машинистам был дан сигнал тронуться в путь и остановить поезд на станции Квелленштейн, где мы должны были встретиться с делегацией от рабочих и перновской организацией, однако, на станции Квелленштейн делегации не оказалось, и, выждав некоторое время, мы все же должны были решить ехать ли в Пернов без неё или отправиться обратно на в Мойзекюль, было решено ехать обратно и ждать делегацию на станции Мойзекюль.

Предварительно выслали на паровозе, по направлению в города Пернов, разведку, которая была встречена около станции Сурри не двумя солдатами, как указывает прокурорский надзор, а целым отрядом их: паровоз был обстрелян и принужден был вернуться.

Тут Аболтиным была сделана крупная ошибка: уступив

просьбам продрогших товарищей, он распорядился взять один из находившихся на станции Квелленштейн ящиков вина и распределить его на весь поезд, чтобы люди погрелись. Вот этот поступок и вызвал тот шум, о котором пишет прокурорский надзор, часть товарищей, в том числе и я, считали эту выдачу недопустимой, так как впереди еще возможно предстояли бои с перновским гарнизоном и полицией. По возвращении на станцию Мойзекюль, мы уже застали приехавших из Пернова делегатов. С делегацией имели беседу лишь наши руководители – Емельян Аболтин и Кришьян Боц. После некоторого совещания делегация на подводах уехала обратно, и было решено в Пернов не ехать, а отправиться по домам.

Впоследствии, находясь уже в тюрьме и обсуждая вопрос об этой неудавшейся поездке и отсутствии твердости решения в этом деле, так и не удалось установить, что в данном случае оказалось бы более целесообразным – доведение ли поездки до конца или возвращение обратно; одни уверяли, что съездив в Пернов, мы бы обезоружили гарнизон, полицию и пограничную стражу, другие же высказывали мнение, что при нашем скудном вооружении и при такой не налаженности связи с перновскими товарищами нас, пожалуй, всех там перебили бы. Кто из нас был в этом прав, кто ошибался – пусть судит история.

Для полноты картины разоружения имения приведу еще один факт, оперируя теми же документами прокурорского

надзора.

«В намерении обезоружить имение Поленгоф, Перновского уезда, участники Руеновского сообщества в том же декабре 1905 года выехали по направлению к имению Кенингсгоф, где революционеры остановились и потребовали дать им несколько лошадей с дровнями. Отъехав с версту от Кенингсгофа, злоумышленники вернулись назад в Руен, так как им вдогонку было прислано сообщение, что где-то поблизости находятся солдаты.

Вторичная попытка отобрать оружие в имении Полингоф была сделана девятнадцатого декабря. Вооруженные злоумышленники в количестве около двадцати человек выехали на санях из посада Руен. Прибыв к десяти часам утра в лесничество «Лилле» имения Ноленгоф, они отобрали принадлежащее лесным сторожам оружие, перерезали телефонные провода, находившиеся в квартире одного из лесничих, и поехали к жилому дому имения Поленгоф.

Когда по прибытии в имение требование злоумышленников пустить их в дом владельцем имения Фридрихом фон-Стриком не было исполнено, они стали выбивать входные двери. Фон-Стрик, находившийся у него в гостях Карл фон-Стиверс и служащие имения, открыли изнутри по злоумышленникам стрельбу, после чего революционеры обратились в бегство, потеряв три ружья и оставив трех товарищей (Меллупа, Осиса и Праудина) убитыми. Двое из принимавших участие в этом нападении – Ян Кеспер и Ян Рокис – были

поранены, первый – в правую ногу, а второй – в грудь.

На обратном пути революционеры заехали в аптеку в местечко Нуя, где раненым была сделана перевязка».

К этому сообщению прокурорского надзора можно прибавить только то, что наш отряд из двадцати человек, вооруженный по большей части охотничьими ружьями и револьверами, встретив сопротивление двух хорошо вооруженных «фонов» и их верных слуг, хорошо забаррикадировавшихся в каменном здании имения, и потерявши трех товарищей убитыми и двух ранеными (из коих тов. Рокис был тяжело ранен в грудь), – эти, по словам „прокурорского надзора“, беглецы, вернувшись в тот же день обратно, потребовали от Руенского «Полевого центра Пламя» немедленного усиления отряда и отправки обратно в имение Поленгоф для обезоруживания последнего.

К сожалению, это требование не могло, быть удовлетворено, так как, по донесениям нашей разведки, к Руену уже приближались карательные отряды генерала Орлова, расстреливавшего налево и направо.

Прежде, чем перейти к описанию периода надвигающейся реакции, мне кажется, не лишне будет привести еще одну выдержку из заключения прокурорского надзора, характеризующую отношение восставших к религии:

«В «бюро» печатались также и другого рода листки революционного содержания, как например – молитва «отче наш» в кощунственном изложении, начинавшаяся словами:

«отче наш, ты, который живешь в Петербурге, да будет проклято имя твое, да сокрушится владычество твое, и воля твоя да не исполнится и в аду».

Если к этому прибавить, что эта и ей подобные листовки, подчас с карикатурами на царя и духовенство, пользовались широкой популярностью среди рабочих и батраков, то станет понятным, почему пролетариат и батрачество всей Прибалтики в целом, ненавидя царя и царское правительство и услужливое им духовенство, всей своей массой присоединились к общему революционному движению России.

После неудавшейся попытки, как уже было сказано, обезоружить последнее имение, находившееся в тридцати верстах от нас, и по получении сведений от разведки, что приближаются карательные отряды, а из нашего центра директивы немедленно свернуть восстание и, спрятав оружие, самим перейти в подполье, – нашим «бюро» были приняты немедленно меры для исполнения этой директивы.

Правда, многим из нас, в том числе и мне, эта директива казалась невероятной, невозможной, непонятной, даже в некоторой степени преступной не только перед восставшим пролетариатом Прибалтики, но и всей России – нам представлялось непонятным распоряжение сдать позицию без боя, подставить шею под виселицу, не оказав ни малейшего сопротивления, тем не менее приходилось исполнять директиву, а также ликвидировать стремление отдельных товарищей из молодежи создать отдельные боевые отряды для

ведения партизанской войны, приступить к ликвидации наших дел и перейти в подполье.

Сейчас же было собрано в помещении сельско-хозяйственного общества, в дамской комнате, заседание нашего «бюро» с соответственными подпольными работниками, кроме вопросов, связанных с наличным оружием и прочее, нужно было выбрать подпольное «бюро» и из его же состава – ответственного товарища для связи с центральной организацией.

Среди выставленных кандидатур фигурировала и моя фамилия, при чем меня метили в старшие (по-теперешнему – в секретари Оргбюро). Снимая свою кандидатуру, я указывал, что бессмыслица меня избирать, так как меня, как члена бюро и заведующего оружием, да еще имеющего за собой, с точки зрения «закона», сотни преступлений, на свободе не оставят, если не расстреляют на месте. Доводы мои не были приняты во внимание, и по установлении порядка выборов приступили к таковым, голосовали путем записок, которые должны были подаваться мне и Емельяну Аболтину, и после подсчета голосов результат должен был быть объявлен не на самом заседании, а в отдельности каждому избранному товарищу после заседания. Записки были написаны и поданы, в списках избранных, как и предполагалось, избранным оказался и я, махнув безнадежно рукой, я был вполне уверен, как это впоследствии и случилось, что мое избрание является лишь временным, до прибытия карательного отряда.

Покончив к полуночи с выборами и другими неотложными делами по ликвидации нашей легальной организации и переходу в подполье и отправив с надежными товарищами упакованные в ящиках остатки нашего оружия, для того, чтобы их временно (пока не пройдет карательная расправа) погрузить на дно реки, я отправился на свою квартиру, где не так еще давно происходили все наши легальные заседания и собрания, откуда исходили руководящие директивы нашим восставшим войскам и прочее.

Моя квартира, вернее «штаб-квартира», в данный момент приняла вид полного опустошения: в шкафу уже не было ни одного ружья и револьвера, столы и ящики были пусты, на полу кое-где еще валялись клочки разорванных бумаг, револьверные патроны, дробинки, а на стене, за кроватью, висело мое трехствольное ружье, отобранное в имении Виркен. В кармане у меня торчал шестизарядный Смит-Весон и коробка с двадцатью пятью боевыми патронами. Кому они нужны? Грош им цена, – думал я, снимая ружье с гвоздя, разглядывая его и кладя на стол, – грош цена всякому оружию, если оно не предназначено для борьбы за общее дело пролетариата.

Осмотрев еще раз шкаф, столы и ящики в обеих комнатах, я вспомнил, что где-то еще должен лежать сверточек с динамитом, таковой оказался на печи, и я его выбросил.

Спать не хотелось, да и нужно было подумать о том, куда и как спрятать свое оружие, но этот вопрос в эту ночь оказался

для меня труднее разрешимым, чем все предыдущие разоружения имений и полиции, – и я решил, что утро вечера мудренее и что, пожалуй, ночью оружие еще может пригодиться. Шагая из угла в угол, я тысячу раз передумывал, почему именно мы так скоропостижно, без сопротивления свернули восстание. Не имея регулярной связи с центральной Россией, из-за забастовочного движения железнодорожников, для меня неясно было, что происходит в Питере, в Москве и других крупных центрах – неужели и там поднявшие восстания рабочие фабрик и заводов также вдруг без особого сопротивления сдали свои позиции? Или же и они уже разбиты? Неужели к восставшему пролетариату не присоединились солдаты, из коих большинство все же – сыны народа? Как я ни думал и ни рассуждал, все же ответа на эти вопросы я не в состоянии был получить, так в раздумье провёл я остаток ночи и на рассвете направился к зданию типографии, чтобы там на сеновале спрятать свое ружье, а револьвер с патронами – в типографии, в отдушине дымовой трубы. Спрятав все как полагается и выглянув на улицу, я увидел, что в местечке творится что-то необычайное: на улице происходила какая-то необыкновенная беготня, шум, люди куда-то спешили, а куда – было непонятно. Сообразив, что, по всей вероятности, в местечко прибыли карательные отряды, я вышел на улицу проверить это. Так и оказалось, – но только, боясь сопротивления, карательный отряд в местечко зашел не сразу, а окружив его тесным кольцом на расстоянии

с версту и установив батареи, пустил тихим ходом по железной дороге лишь несколько групп солдат. В центр местечка петухом вкатился какой-то урядник, расклеивая какие-то объявления, заинтересовавшись этими последними, я прочитал, что руководители карательной экспедиции требуют от жителей местечка Руен выдачи девяти местных «главарей» вооруженного восстания; среди этих «главарей» оказался и я. Прочтя это объявление, я убедился, что сделал большую ошибку, не уехав ночью за пределы местечка, но теперь было уже поздно куда-либо прятаться и приходилось спокойнейшим образом ждать, когда снимут, как цыпленку, голову.

Направляясь на свою старую квартиру к старушке-матери и к малолетнему приемышу-братишке для того, чтобы проститься с ними, я по дороге встретился с сапожником Блукиссом, который у нас был на учете, как один из ярых контрреволюционеров. Увидав меня, он воскликнул озлобленным голосом:

– Ты еще здесь и не арестован!

Но, заметив, что я засовываю руку в правый карман, он, по всей вероятности предполагая, что я еще с револьвером, с испугу, как заяц, шмыгнул в первые попавшиеся ворота. По дороге мне встречались уже отдельные группы солдат разведчиков-наживчиков, что подтверждалось и криками нескольких баб-торговок о том, что изверги забрали булки и колбасу, и прочее и не заплатили денег. К этому времени уже из домов более интеллигентно-зажиточной части

города выносили и вывешивали около ворот и дверей на скорую руку изготовленные из простынь и полотенец белые флаги – в знак покорности карательному отряду. Простившись с матерью и братишкой и оставив им часть имевшихся при мне денег и часы, я снова вышел на улицу. В это время раздались один за другим шесть орудийных выстрелов; загорелась одна баня и зазвонил пожарный колокол, созывая добровольную пожарную дружину.

Куда идти, что делать? Отправиться из любопытства на станцию, пожалуй, схватят и расстреляют немедленно.

Решил пойти к товарищу Яну Клуцису. Я застал его в ванне принимающим холодный душ; поздоровавшись и спросив его, слышал ли он орудийные выстрелы и известно ли ему, что местечко уже окружено карательным отрядом, и получив ответ, что он все это знает, – я удивился его хладнокровию. Заметив мой недоумевающий взгляд он, по своему обыкновению, шутя ответил:

– Торопиться некуда, повесить еще успеют.

Поговорив с ним немного и видя, что он вовсе не собирается спешить со своим туалетом, я решил отправиться на вокзал поразведать, что там происходит. По дороге туда, – в поле, около одного из крайних домиков, – я увидел следующую картину. Около одной, из картофельных ям бегала детвора, и какая-то женщина с плачем и ревом ловила их и совала в отверстие ямы. Я невольно остановился и стал наблюдать за этой довольно странной и непонятой картиной.

В результате моих, наблюдений выяснилось, что мать этих ребят, желая сохранить своих детей живым от свистевших над местечком снарядов карательного отряда, запихивала их в картофельную яму, всунув туда одного, она бежала за другим, но пока она успевала поймать следующего и всунуть в отверстие, первый уже оттуда выкарабкивался; детей было четверо-пятеро, и измучившаяся бедняжка, оказавшись не в состоянии справиться со своими непослушными ребятами, наконец, села у отверстия ямы и горько заплакала.

Несмотря на всю напряженность морального состояния в этот момент, было и смешно, и жаль ее, но помочь ей в чем-либо, хотя бы успокоить, было уже некогда—у вокзала я был немедленно арестован. Поместили меня в зал третьего класса, приставив часового, вперед и назад сновали интеллигентно-зажиточные, которые доносили начальству о всех наших преступлениях. Несколько времени спустя я увидел через окно около вокзала окруженных солдатами человек восемь-десять арестованных наших товарищей. В зале сквозило и было холодно, и поэтому я, обратившись к первому проходящему офицеру, просил перевести меня в более подходящее помещение. Было сделано распоряжение о переводе меня во второй класс, а оттуда уже меня вызвали в дамскую комнату, где за бутылкой-другой вина заседало начальство карательной экспедиции и выслушивало доносы. Кто-то из комиссии обратился ко мне с вопросом:

– Ваша фамилия?

Я назвал себя.

Тогда спросивший полез в карман за своей записной книжкой и, должно быть, обнаружив там сходственную с моей фамилию, удивленно посмотрел на меня, перевел свой торжествующий взгляд на своих собутыльников и спросил:

– Это он?

Получив ответ, что должно быть, он, начальник сказал:

– Все равно, завтра застрелим.

Здесь я должен оговориться, что, несмотря на то, что мне уж шел 19-й год от роду, я, будучи маленького роста, выглядел очень молодым и никто не давал мне более 15—16 лет, почему и руководителям карательного отряда, должно быть, показалось невероятным зачисление меня в число тех девяти главарей, которых следовало бы выдать, чтобы они не разгромили местечко Руен.

Возмущенный приведенным бесцеремонным заявлением офицера я возразил ему, что для меня абсолютно все равно, сегодня ли, завтра или, может быть, пять лет спустя меня расстреляют—ведь один раз в жизни умирать.

В ответ на это последовало:

– Вот как! Ну, посмотрим.

На этом наша беседа кончилась.

Продержав меня до сумерек, кто-то отдал распоряжение меня вывести.

Куда и зачем я не спрашивал – как-то все тогда казалось безразличным. Меня повели вдоль поезда, остановили у аре-

стантского вагона и, отперев двери, впихнули туда, осматриваюсь – тут же и товарищ Клуцис, и Густав Балтин, посланный девятнадцатого декабря вечером на разведку в город Валк, и трое станционных чинуш, в том числе, и дежурный начальник станции в фуражке с красным донышком, должно быть, арестованные по наговору. Товарищ Балтин, позвав меня в сторону и взглядом указывая на лежащий под скамейкой револьвер, шёпотом спросил меня, что с ним делать, на мой вопрос, как он очутился здесь, Балтин ответил, что, будучи вчера арестованным, он по дороге дулом револьвера проткнул боковой карман пальто и спустил его за подкладку, а при обыске его не обнаружили. Конечно, положение наше при наличии револьвера было глупое, ибо мы прекрасно знали, что как только найдут этот револьвер, тотчас им же нас и перестреляют, так как такие случаи, по имеющимся у нас сведениям, бывали нередки. Разобрать и выбросить его в отверстие клозета было немислимо, так как тотчас же он был бы замечен на полотне под поездом, который со всех сторон был окружен часовыми. Подозвав еще и Клуциса, мы стали рассуждать, не лучше ли будет при открытии двери пустить его в ход и попытаться бежать, но и это была бессмыслица, так как на станции вперед и назад сновали отряды солдат. Мы не пришли еще ни к какому заключению, как дверь арестантского вагона снова открылась и нас позвали, револьвер остался под скамейкой.

Нас снова повели вдоль нашего поезда, затем вдоль дру-

гого и, наконец, разместили в вагоне третьего класса, где уже находились ранее виденные мною арестованные товарищи. Всех арестованных оказалось шестнадцать человек, и нас так уплотнили, что не было никакой возможности ни стоять, ни сидеть. Мы стали требовать прибавки жилой площади и несмотря на то, что нам пригрозили, мы все же не унимались. Тогда был вызван какой-то офицер. Последний, выхватив свой револьвер и приставляя его поочередно каждому из нас к носу, угрожал смертью, так как по всему было видно, что за угрозой последует и исполнение, то мы предпочли из-за дополнительной площади более не скандалить, — тем более, что после перевода в вагон третьего класса можно было рассчитывать, что нас не скоро лишат жизни, а, вероятно, куда-то отправят.

Пока что поезд стоял без движения, наш конвой над нами изрядно здесь издевался, продолжая это и по дороге в Валк, куда нас ночью отправили, но это издевательство, по сравнению с тем, что было на платформе станции Валк, являлось лишь шуточкой. По доставлении к часу или двум пополудни на станцию Валк, нас вывели на платформу станции и выстроили по четыре человека в ряд. Холод был невероятный, а большинство из нас было одето весьма плохо, мы стояли, дрожа всем телом, кого-то ожидая. Наш поездной конвой сменился другим, не помню, какого полка были эти солдаты и в каких зверинцах их держали напоказ до усмирения нашего восстания, — в жизни чего-либо подобного я никогда

не видел и не слышал. За два с лишним часа, пока мы ожидали прибытия генерала Орлова посмотреть на нас, у этих солдат другого разговора не было, как только о том, что у кого отрезать, как выколоть глаза, за что повесить, какие ремни на что, где и у кого вырезать и тому подобное. Продрогшие, мы молча ждали, когда же это мучение кончится, кое-кто не выдержал и стал стыдить их, что, однако, вызвало лишь хохот конвоя и усиление надругательств с его стороны.

Наконец, появился и сам генерал, который, приняв рапорт, поблагодарил молодцев за службу и, пройдя мимо нас, как бы поощряя солдатские надругательства над нами, сказал:

– Ничего, ничего, мы с ними считаемся! – и приказал отвести нас в приготовленное место.

Шли мы быстро (должно быть, и солдаты продрогли) и от этого по дороге немного согрелись, во время ходьбы задних подталкивали прикладами. Нас привели в арестный дом, сдали по счету заведующему арестным помещением и дежурному казацкому офицеру, охрана перешла к находящимся в арестном доме казакам.

Мы чувствовали себя как-то особенно усталыми, ибо многие из нас, будучи все предыдущие дни чрезвычайно заняты, почти двое суток ничего не ели, да и промерзли как следует. Поэтому нас уже не интересовал вопрос о том, что будет с нами, а каждый думал лишь об одном – как бы скорее прилечь, хотя бы на каменном полу, и отдохнуть, но до отдыха

было еще далеко. Нас стали вызывать по одному в контору, при чем каждого сопровождали два казака, из конторы отведенных туда товарищей через некоторое время мимо нас вели обратно, но разговаривать не позволялось, и поэтому мы не знали, что происходит в конторе, предполагая, что там угощают нагайками. Пришел и мой черед. Оказалось, что в конторе тщательно обыскивали и записывали имена, отчества и фамилии, сколько лет и откуда; больше никаких вопросов не задавали. Попав в соседнюю камеру, каждый из нас, без длинных разговоров с другими товарищами, сейчас же свертывался на полу для того, чтобы отдаться сну, но не успели еще последние войти в камеру и прилечь, как с другой стороны открылась вторая дверь, и в нее было брошено несколько грязных, полных вшей матрацев. Пришлось снова встать и распределять места; но оказалось, что сделать это не так просто, ибо было так тесно, что можно было лечь только на бок; поэтому некоторые, не желая лечь около парашки, предпочли присесть на корточках в углу и вздремнуть. Кое-как устроившись, мы снова предались сну, засыпая, я слышал, как стоявшие у дверей с форточкой казаки-часовые, разговаривая между собой, удивлялись нашему сну:

– «Удивительно, как такие крамольники, не признающие ни царя, ни бога, могут спать без зазрения совести и стыда таким крепким сном».

Итак, мы находились в тюрьме. Проснувшись утром, мы увидели, что за ночь весь арестный дом уже переполнился

вновь арестованными товарищами из разных мест Прибалтики. Обе камеры рядом были не меньше переполнены, чем наша, через дверную щель одной из камер нам рассказывали о повсеместно происходящих арестах, расстрелах и порках. Поэтому нас очень удивляло, почему никто из нас не был еще до сих пор расстрелян, но впоследствии выяснилось, что подполковник, кажется, Марков, руководивший карательными отрядами Руенского района, где-то запьянствовал и, расстреляв несколько десятков рабочих и батраков в районе Поленгофа за сочувствие революционному движению, застрял в одном из имений, а по прибытии в местечко Руен уже не застал главарей, ибо отправленные из Руена без документов, без записей даже по фамилиям, а просто по счету и размещенные не только по тюрьмам и арестным домам, но и по баням и специально для арестованных очищенным больницам, мы, руенцы, смешались с другими арестованными, так что к прибытию палача Маркова некого было расстреливать.

Тем не менее Марков все же нашел себе жертву, расстреляв арестованного в местечке Салисбург девятнадцатилетнего мальчика Гольде.

Проголодавшись, мы стали требовать пищи, администрация арестного дома, заявив, что все будет подано своевременно, удалилась, однако с выдачей хлеба, соли и кипятку справилась только к 11-ти часам утра. Так как ни чаю, ни сахару, ни посуды у нас не было, а забранные у нас деньги находились в конторе тюрьмы и на них покупать нам ни-

чего не разрешали, то приходилось ограничиться лишь хлебом и солью. Насыпав соли на полученные нами ломти хлеба (примерно, с фунт), мы уплетали его в обе щеки, так что в несколько минут у большинства из нас ничего ни на обед, ни на ужин не осталось. Человека четыре, скорчившиеся в углу и окончательно загрустившие, совсем не ели – им было не до еды: их интересы расходились с нашими, они не участвовали в революционном движении и были арестованы по наговору своих врагов, поэтому, понятно, и чувствовали себя не в своей тарелке. Все наши доводы, что незачем им горевать и не есть, что придет время и их дела разберут и тогда освободят – ни к чему не привели.

На ветер, то есть во двор или клозет, нас не пускали, заявляя, что в камере имеется парашка, однако, последняя была уже полна, и мы требовали дать нам возможность куда-нибудь ее вылить, но и этого мы добились не скоро, так как персонал, обслуживавший ранее двадцать-тридцать человек арестованных, покуда что остался без пополнения, а в арестном доме находилось уже около триста-четырееста набитых, как селедки в бочку, человек, после долгих хлопот все же парашка была опорожнена.

Часам к четырем-пяти нам подали обед – горячие, на сале сваренные щи, подали их в нашу камеру, на всех 16 человек, в трех больших глиняных чашках; дали и четыре деревянных ложки. Так как столиков и скамеек в камере не было, а находившийся около окна шкафчик не мог воспринять всех трех

чашек, мы, усевшись группами на полу около чашек со щами, приступили к трапезе: хлебнув по ложке и передавая ее другому товарищу, мы перешучивались между собой. Хлеба, как я уже сказал, у большинства не осталось, наши товарищи – случайники, не приступая и к обеденной трапезе, предложили нам свой хлеб, мы, конечно, с благодарностью его приняли и, распределив между собою, еще больше повеселели. Кто-то вспомнил какой-то старый латышский анекдот про семь братьев, у которых за обедом была всего одна чашка супу и одна ложка, притом супу было настолько мало, что если бы они съели его без перерыва, то остались бы такими же голодными, как до начала еды, и поэтому, посоветовавшись между собою, умники решили после каждой ложки супа забрасывать последнюю на печь, чтобы, растягивая трапезу, в поисках за ложкой, можно было бы заморить червячка. Мы находились почти в таком же положении, и некоторые предлагали последовать примеру семи братьев и забрасывать ложки на печку, которая, кстати сказать, находилась в нашей камере. Так за разговором мы и не заметили, как опустошили наши чашки; все же в животе чувствовался голод, но делать было нечего, так как на наш звонок о прибавке нам ответили, что больше не дадут.

После обеда одни прилегли, а другие, расхаживая, как тигры в клетке, раздумывали, как бы раздобыть табак или папиросы, пробовали завести разговор с казаками, однако, это ни к чему не привело, и в ответ на наши начинания нам

пригрозили нагайками.

Вечером мы все же сделали попытку вызвать надзирателя и просили хотя бы за свои деньги принести нам хлеба, но и в этом нам было отказано. Пришлось лечь спать на голодный желудок и ждать следующего утра, когда снова подадут полуголодную норму хлеба, соли и кипятку. Утром хлеб был подан и тотчас же нами съеден, и так продолжалось ежедневно, вплоть до перевода нас во Псков.

Из разговора выяснилось, что кто-то, при всей тщательности обыска, ухитрился пронести с собою две золотых пятерки: значит, надо было попытаться счастья на приобретение папирос или табаку у часовых, выждав их смены. В 12 часов дня сменился караул и, вместо казаков, к нашей форточке, наружному окну и на всех постах были приставлены пехотинцы. Сейчас же мы завели разговор с часовым у форточки; оказалось, что этот часовой был солдатом в человеческом облике, и сказав нам, чтобы мы немного обождали, и выждав подходящий момент, он сунул нам в форточку две папироски; поблагодарив его, мы попросили сидевших в смежной камере товарищей, где имелась печка, сунуть нам вниз под дверь уголёчек, и получив его, с осторожностью, в углу, один за другим затягивались по-дымочку. После такого счастливого начинания, мы обратились вторично к нашему другу-часовому, спросив, не может ли он после смены купить нам побольше папирос на наши собственные деньги. Сказав, что это для него будет небезопасно, так как проходя-

щие солдаты и тюремная администрация могут это заметить, и он может очутиться вместе с нами за решеткой, в то же время он посоветовал обратиться за этим к наружному часовому, при чем обещал своей фигурой заслонить форточку, чтобы с этой стороны наши действия не были видны. Поблагодарив его за человеческое и товарищеское отношение к нам, мы сейчас же приступили к делу, но так как форточка нашего наружного окна была проделана в верхней его части и нам нелегко было до нее добраться, то пришлось объясниться с наружным часовым мимикой. Мы показывали ему пальцами, что хотим курить, что у нас есть деньги и что часовой, стоящий у нашей форточки, нам не может помочь, что мы просим его купить нам папирос и после смены каким-нибудь способом доставить, после долгого непонимания мы в конце концов все же с ним договорились – он кивком головы дал нам свое согласие и, указывая глазами на форточку, предложил выкинуть деньги. Завернув одну пятерку в тряпочку и встав друг другу на плечи, мы тотчас же бросили ему деньги, попросив его при этом, если у него имеется несколько папирос, дать их нам авансом, подняв деньги, пройдясь немного и спросив глазами, все ли у следующей форточки благополучно, он на штыке подал нам пачку папирос, в которой было что-то около семи-восьми штук, знаками мы усиленно поблагодарили его.

Часовые сменились, пришло обеденное время, пришел и вечер, а папирос все еще нам не приносили; прошла и ночь,

наступило утро—и все же папирос не было. Вновь сменился караул, и мы, грешным делом, уже было подумали, что наш друг нас надул, но все же еще, хотя и в маленькой надежде, караулили у форточки внутренней двери. Сменившийся караул стал уже проходить, как вдруг наш друг, отделившись от общей массы часовых и приблизившись к нашей форточке, направил свой кулак в сторону моего носа с возгласом:

— Что, сволочь, бельми-то свои выпучил!

А в это же время из рукава его шинели высыпалось на пол нашей камеры четыре пачки папирос, две коробки спичек и сверточек в бумажке с чем-то более тяжелым. Благодарить его было бессмысленно, так как можно было выдать; и мы, подобрав папиросы, спички и сверточек, в котором оказался полностью остаток денег, в душе посылали ему тысячу благодарностей.

Сейчас, двадцать лет спустя, я не могу не вспомнить с радостью об этом сереньком часовом, у которого и тогда, в дни наивысшего расцвета реакции, под серой шинелью билось пролетарское сердце, с радостью вспомнят его и все те живые товарищи, которые в то время сидели со мною в валкском арестном доме.

После этого случая, мы имели еще ряд ему подобных, когда часовые стали нам передавать не только папиросы и спички, но и подчас белую булку и колбасу, что не раз облегчало нашу серую тюремную жизнь. К новому году, после посещения тюрьмы тюремным начальством, во главе с уезд-

ным воинским начальником, нам разрешили «выпуску», то есть приобретение на свои собственные деньги продуктов и курева. Таким образом, эти заботы с нас спали, но в то же время нас одолевала другая, более серьезная неприятность – нас съедали паразиты, которые из-за отсутствия чистого белья (как своего, так и казенного), а также – бани и прогулки, развелись настолько, что никакого человеческого терпения нехватало бороться с ними: все наши усилия изловить их и ставить под гильотину для убиения ни к чему не приводили, все заявления начальству приготовить для нас баню, дать нам хотя бы свое белье, оказались безрезультатны, и только после совместных категорических требований в первых числах января нам стали передавать белье – и то лишь тем, чьи родные, разыскав своих, приносили белье – таких счастливых было немного.

Около этого же времени начались вызовы в контору – к прокурору, специально назначенному для разбора, дел арестованных и для определения судимости. Для многих эти вызовы кончались административными наказаниями, в большинстве случаев – арестом от двух недель до трех месяцев, причем подчас между прокурором, который не имел никаких обвинительных материалов, и заключенными происходила торговля из-за сроков наказания.

Пришла и моя очередь. У прокурора возникло сомнение, действительно ли я тот, которого арестовали, а затем снова разыскивали, не считая меня арестованным. Было отдано

распоряжение доставить сейчас же к допросу и другого Рейна, находящегося под стражей в какой-то больнице или бане, к этому свиданию двух Рейнов была вызвана руенская полиция, в том числе и младший помощник уездного воинского начальника Пржиалговский, оказалось, что второй Рейн—это мой брат. При очной ставке с братом и полицейскими выясняли, кто из нас тот, которого разыскивали. Полицейские заверили, что разыскиваемым Рейном являюсь именно я и что мой брат ни в чем не участвовал, подтвердил это положение и я сам, после чего брата освободили и приступили к моему допросу. Все обвинения, выдвинутые против меня полицейскими, я категорически оспаривал. Прокурор, предлагал мне во всем сознаться, ловил меня на удочку, обещая, в случае признания своей вины, наказать меня лишь в административном порядке и заявляя, что по отбытии этого административного наказания я буду свободен и никто уже меня не сможет арестовать, так как за одно и то же дело два раза не наказывают. Для меня эти соловьиные песни были понятны: прокурору, не имевшему вещественных доказательств, нужно было мое признание, и поэтому я категорически отрицал все возводимые на меня обвинения. Тогда решено было отдать меня под суд.

Так как с каждым днем в городе Валк прибывали все новые и новые арестованные, а мест уж нехватало, то предполагалось часть заключенных отправить в город Псков. Каждый из нас с нетерпением ждал дня отправки, так как грязь и

паразиты нас окончательно доняли – люди ходили, как тени. Отправка первой партии была назначена на седьмое января 1906 года, до этого я виделся с братом, который, к моей радости, привез мне деньги, кое-что из продуктов и белье, уведомив, что он своим освобождением, приездом и сообщением, что я жив, очень обрадовал старушку-мать, с отцом мы не ладили, и поэтому ни от него, ни к нему приветов не было.

Седьмого января первую партию заключенных под усиленной охраной вывели на улицу, построив в ряды, кажется, по восемь человек, стали всех перевязывать друг с другом веревками, при чем последние затягивались так туго, что кровь застывала в жилах. По всему этапу прошел ропот, и мы стали требовать, чтобы нас развязали. В результате наших требований был вызван начальник этапа, помню, явился молоденький офицер и, крепко выругавшись, приказал подать ему перочинный нож; разрезав узлы первого ряда и приказав освободить и остальных от веревок, он прибавил:

– Не скотину же мы отправляем.

Веревки были сняты, и этап двинулся на вокзал. В надежде на лучшую тюрьму, освобождение от паразитов и преисполненные некоторыми мечтами, мы бодро шагали к вокзалу.

Войдя в вагоны и видя со стороны нашего нового начальства человеческое к нам отношение, мы, в момент отправки, попросили офицера разрешить нам разместиться так, чтобы земляки попали в одни вагоны, а также позволить нам на вы-

данные нам на руки собственные деньги приобрести Местного и папирос, и то и другое было разрешено. Поезд тронулся, и мы, как пчелы в своих ульях, зашумели, загалдели, обмениваясь впечатлениями, пережитыми с момента ареста.

По прибытии во Псков, мы были выстроены на перроне и, под команду «марш», двинулись к городу; на вокзале было много публики, особенно старух. Наш начальник этапа, молоденький офицер, был в веселом настроении и видя, что старухи начали креститься, а некоторые, крестясь, отплеиваться, крикнул:

Дай дорогу прибалтийцам!

Нас привели в исправительные арестантские роты (впоследствии псковский централ), которые были очищены, – за исключением кашеваров, коридорных и прочих уголовных, – и приготовлены для нас.

В тюрьме между начальником этапа и дежурным помощником тюремного начальника произошел инцидент.

Оказалось, что у начальника этапа, кроме списка арестованных, никаких документов о нас не было, а дежурный помощник без таковых не принимал.

Дело грозило осложнениями для нас, так как начальник этапа, рассердившись, что нас не принимают, заявил, что отведет нас обратно, нам это не улыбалось.

К счастью, каждый из них по своей линии созвонился с начальником, и конфликт был улажен. Нас разместили в светлых больших комнатах. Мы попросили назавтра дать нам ба-

ню, показывая, что все мы покрыты паразитами: нам это обещали, обещали и продезинфицировать наше белье и одежду, заменив их на время казенными.

Прежде чем перейти к беглым воспоминаниям о дальнейшем заключении, я немного отступлю назад и коснусь несколько событий, происходивших в Салисбурге после прихода карательной экспедиции генерала Орлова.

Как я уже сказал, девятнадцатого декабря 1905 года вечером, когда в бюро нашего «Полевого центра Пламя» ставился вопрос о том, подчиниться ли центру и сложить оружие или оказывать сопротивление войскам в партизанских боях, громя одновременно имения и появляющихся помещиков, – товарища Кришьяна Боца не было, он в это время находился в Риге по партийным делам. Вернувшись двадцать первого или двадцать второго декабря, то есть после того, когда уже и по Салисбургу прошел карательный отряд, и видя полный разгром Руенской организации и частично Салисбургской, Боц, разыскав нескольких вестовых, отдал им распоряжение собрать к двадцать третьему декабря в полном вооружении в местечко Салисбург оставшиеся отряды, выставив патрули на десятиверстном расстоянии на всех дорогах и установив связь с Руеном, он устроил митинг, предварительно обезоружив вновь вооруженных полицейских. На митинге было решено сжечь Салисбургское имение, разгромить винный и пивоваренные заводы, а затем приступить к разгрому имений по всей окрестности. Отпустив, подобру-поздорову,

старого барона-помещика с палочкой и необходимыми ему вещами на все четыре стороны, дружинники подождли имение, вино и пиво выпустили из баков и погребов, после чего, разбившись по мелким группам, отряды собирались уже было отправиться на сжигание окрестных имений,—как в этот момент, по связи из Руена, было получено сообщение о том, что опять через Руен на Салисбург направляются новые карательные отряды и что эти отряды прибудут в Руен к десяти часам. Так как уже было около восьми часов вечера и предполагалось, что эти карательные отряды прибудут точно к десяти часам, то тут же, в виду того, что разгромить имения в такой короткий срок было немыслимо, отряды были распущены по домам с тем, чтоб, спрятав свое оружие, они могли бы быть снова собраны, когда это потребуется.

Как оказалось потом, карательные отряды прибыли не к десяти часам вечера, но к десяти часам следующего утра, а в Салисбурге очутились лишь около двенадцати часов, когда и начали там расправу. Всего было изрублено и застрелено одиннадцать человек, пришедших утром на спиртной завод полакомиться остатками разлитого спирта.

На этом восстание в нашем районе кончилось, и началась жестокая расправа карательных экспедиций, помимо убитого в местечке Руен товарища Гольде и многочисленных арестов, беспощадно производилась порка казацкими нагайками от двадцати пяти до семидесяти пяти ударов, многие изпод порки выходили еле-еле живыми.

Возвращаясь к дальнейшим воспоминаниям о тюремной жизни, остановлюсь на размещении нас в псковской тюрьме.

Как я уже сказал, нам обещали баню, белье и дезинфекцию, что и было исполнено на следующий день.

Освободившись от паразитов, мы ожили, да и пищи хватало: кое-что читать раздобыли, газету стали получать, передачи разрешили и тому подобное.

Небезынтересно будет узнать, как мы добывали газету, как вели нелегальную переписку с волей и как получали свежие новости. Передачи к нам в камеры поступали в раскрытой, но строго обысканной упаковке – в ящиках, корзиночках и тому подобное. Мы постарались тем или другим способом (через освобожденных, на свидании, перекинувшись вместо русского на латышском языке) сообщить об этом домашним и друзьям, после чего передачи стали поступать к нам в ящиках с двумя искусно вставленными днищами, стенками и проч., между которыми помещались целые газеты или необходимые вырезки из них, письма и деньги. Когда это было обнаружено, стали приносить передачи в корзинках, по большей части плетеных, куда наши друзья и ухитрялись вкладывать все необходимое. Когда на тщательных обысках и это было обнаружено и было запрещено передавать передачу в твердой упаковке, наши друзья перешли на другие хитрости, излагая нам новости на шелковой бумаге, заклеенной в боках или доньшках бумажных кульков с гармошкой, затем перешли на колбасу, которая с завязанного

конца продырявливалась, начинялась вместо мяса вырезками из газет, записками и прочее, после чего она снова перевязывалась шнурком и направлялась в тюрьму. Когда, наконец, при разрезке колбасы и этот способ был открыт, то пришлось пользоваться папиросами, из которых набивалась табак лишь часть, а остальные заполнялись шелковыми записками, завернутыми в желтую бумагу.

Но и этой радости пришел конец. Тогда пришлось усилить связь через надежных тюремных надзирателей, платя им хорошие деньги за каждую «почту». В более сложных случаях, когда необходимо было передать на волю что-либо особенно секретное (предупреждение о возможном аресте товарища, обыске и прочее), мы пользовались стрелой, лук для коей был раздобыт с помощью уголовных заключенных и сделан из рукоятки кнута. Отправлялись эти сообщения так: раза три-четыре в неделю (а то и чаще) к тюрьме приходили две партийки-псковитянки, усаживались на скамеечке, находившейся наискось против централки, и, держа в руках по книге, словно читая, следили за нашим окном, мы же, в свою очередь, по тюремному телеграфу—с помощью платка—сообщали, что даем почту, и получив от них ответ, что все обстоит благополучно, пускали стрелу с обернутой запиской в стоявшее около скамейки дерево. Уткнувшись в дерево стрела немедленно снималась, с нее сдиралась записка, после чего наши «товарки» отправлялись для доставки ее по назначению.

Не всегда это дело проходило гладко. Как-то раз явившийся вместо девиц паренек, не учтя того, что около ворот, снаружи, расхаживает городской, а также, не успев своевременно подхватить недолетавшую до дерева стрелу, очутился в перепалке: городские засвистели и устремились за ним в погоню. К счастью, паренек сумел прыгнуть на первого попавшегося извозчика, а затем, очутившись у низкого забора, выскочил из дрожек, перелез через забор и, прячась по дворам и огородам, скрылся. Все это мы наблюдали через окно, и впредь приходилось действовать более осторожно, да и к нам стали относиться строже, заставляя почаще слезать с окна.

Благодаря всем вышеприведенным обстоятельствам, а также и тому, что тюремное начальство, во главе с начальником, прозванным Петрушкой, хотело нас прибрать к рукам, взаимоотношения заключенных с тюремной администрацией с каждым днем все больше и больше обострялись: то и дело возникали конфликты, вызывался тюремный инспектор или прокурор суда, тем не менее до марта месяца особенно крупных инцидентов не произошло.

Довольно аккуратно получая нелегально через надзирателей газеты, мы с особым интересом следили за восстанием матросов на Черном море, и когда прочли в газете о казни руководителя этого восстания лейтенанта Шмидта и его товарищей, матросов Частника, Глазова и Антоненко, — мы, все политические заключенные, решили в знак протеста против действий царских палачей и солидарности с погиб-

шими товарищами, вывесив в окнах тюрьмы черные флаги с надписью, устроить однодневную голодовку. Знамена мы изготовляли из черных и красных рубашек, буквы же для надписей вырезывали из белой бумаги; флаги прикреплялись к древкам из лучин, полученных через уголовных заключенных. Точно не могу установить, на какое число был назначен траур, но помню, что вскоре после исполнения приговора над вышеназванными товарищами и в 10 часов утра. В назначенный день и час по тюремному телеграфу было передано – пора, и в тот же миг в окнах появились флаги, во всех камерах раздалось дружное – «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и другие революционные песни. Раздались тревожные свистки тюремных надзирателей-постовых, заработали тюремные звонки – и через три минуты по коридорам уже зашагали конвойные, бряцая оружием, конвой во главе с тюремной администрацией, в том числе и Петрушки, в первую голову направился в нашу, восемнадцатую камеру, старший надзиратель бросился к окну за флагом, но его уж там не оказалось и, по произведении обыска, таковой был вытащен из-под изголовья кровати. Пока производился обыск, кто, стоя, кто, сидя, а кто и полулежа на открытой кровати, – продолжали петь революционные песни, игнорируя тем самым присутствие тюремной администрации.

Начальство пригрозило карцером. Мы заявили, что это нас не смущает, и отказались, как было условлено, от пищи. От начальства последовало распоряжение закрыть наглухо

парашку (неполное карцерное положение). К дверям приставили конвойного, то же происходило и в других камерах.

Из одной камеры (кажется, двадцатой, куда потом перевели нас) всех заключенных перевели в нижний этаж, отняли одеяла, матрацы, подушки и простыни (полное уже карцерное положение, но не карцер).

Так продолжалось до следующего утра, когда, вызвав дежурного помощника, а затем и начальника, вся тюрьма потребовала перевода, снятия карцерного положения с двадцатой камеры и вызова тюремного инспектора.

Не желая себе создать дурную славу, Петрушка сдался, и жизнь в тюрьме стала протекать в нормальном порядке.

Это продолжалось недолго, двадцатая камера была раскассирована, так как с каждым днем заключенных переводили в другие прибалтийские тюрьмы, для допроса и следствия, камеры пустели, начальство, концентрируя всех в один этаж, перевело часть нас, руенцев, в двадцатую камеру.

Случилась опять буза – и невзначай.

Кого-то из молодых русских товарищей хотели перевести в одиночку, последний не шел, его потащили силой под руки, многие это видели из окон и сейчас же передали по всем камерам и вызвали начальника, последний, явившись опять в нашу камеру, приказал старшему надзирателю нас выстроить и, крикнув:

– Руки по швам, – стал угрожать нам, что он скрутит нас в «бараний рог». Не ответив ему ни слова, мы дружно освиста-

ли его, потребовав немедленно вызвать прокурора для выслушивания наших требований, которые мы еще до этого набросали: тут упоминалось и о плохом хлебе, каше, прогулке между клозетами, и об обезьянах начальника Петрушки, которых он порол, а потом они, вырвавшись, по крышам бегали, дразня его, и прочее. Остальные камеры последовали нашему примеру, и обойдя только три из всех, Петрушка скрылся. Через некоторое время, вместо прокурора суда, явился его помощник, известный нам прохвост, мы оказали ему такой же прием, как и Петрушке.

За это время нас известили, что одиночки потребовали совместной с находящимися в больничном корпусе политическими прогулки и просят нас поддержать, решили и этот пункт присоединить к общим нашим требованиям.

На следующий день, выйдя на прогулку, мы направились в сторону конторы. Петухи (надзиратели) растерялись, не зная, что делать, наконец, опомнившись, они подняли тревогу свистками и устремились вслед за нами. Из конторы в это время вышел помощник начальника с дежурным фельдфебелем и старшими надзирателями. Изложив свои требования, мы стали домогаться вызова уже не прокурора (так как последний не явился), а губернатора. Помощник начальника, ведя с нами переговоры и соглашаясь в части требований, как видно, оттягивал время, что и выяснилось несколько минут спустя, когда прибыла конвойная команда, во главе с офицером. Неудовлетворенными оставались два пункта

– о совместной прогулке одиночек с больничниками и о перенесении места нашей прогулки в угол двора, против одиночной тюрьмы, около ограды.

После долгих доводов «за» и «против», дежурный помощник начальника согласился уступить и относительно места нашей прогулки, обещав по другому вопросу переговорить с начальником тюрьмы, и тут же мы были все пущены на прогулку на новое место: точно не помню, были ли удовлетворены потом требования одиночников, но знаю лишь, что часть одиночников, по их ходатайству, была переведена в губернскую тюрьму, мы «волынку» прекратили.

Первого мая мы ознаменовали опять же флагами и пением революционных песен, но на этот раз конвой не был вызван, и начальство само справилось с нами, отобрав лишь наши флаги. Поступило оно так, а не иначе, только потому, что вся тюремная администрация, во главе с начальником, была уверена, что с открытием десятого мая 1906 года 1-й Государственной Думы, всех нас, политических, освободят и, следовательно, незачем с нами обострять взаимоотношения в дальнейшем. Не раз сам начальник тюрьмы, приходя к нам для «беседы», ручался своей головой, что с открытием Думы никто из нас уже в тюрьме не будет, в ответ на это мы, смеясь, заявляли, что мы Думе не верим, что никаких амнистий или манифестов не будет и что, таким образом, через несколько недель нам позволено будет назвать его «безголовым». Так и оказалось, и снова Петрушке приходилось при-

бирать заключенных к ногам.

К счастью, я и часть других товарищей по моему делу этого «прибора к ногам» уже на себе в Псковской тюрьме не испытали, так как мы были переведены в Вольмаркскую уездную тюрьму.

Тюрьма была уездная, и режим оказался уездным, чему мы особенно обрадовались, прибыв туда, все надзиратели и начальник тюрьмы оказались латышами, причем среди первых было много хороших ребят, признававших конституции и реформы, но только – не насильственным путем, а с помощью Думы.

Жизнь в уездной тюрьме протекала вполне нормально и сравнительно свободно: мы получали частые передачи от родных, пользовались правом свидания, имели своих дежурных из политических на кухне, имели возможность ежедневно получать газету, часто – нелегальную литературу, которую нам приносили вольмаркские товарищи и просовывали в окна, так как последние выходили прямо на улицу, а тюрьма охранялась кругом, на все четыре угла, всего лишь двумя часовыми.

Единственно, что тревожило и беспокоило нас, это – еженедельные выводы и расстрелы по постановлению военно-полевого суда арестованных, так-называемых «лесных братьев», то есть тех товарищей, которые, скрываясь всю зиму и весну от карательных отрядов по лесам, так или иначе попадались в руки этих карательных отрядов. В уездной

тюрьме к нам зачастил судебный следователь, который, не добиваясь признания, по ряду «преступлений» стал нас вызывать на допрос по ночам, намереваясь этим – ночным способом допросов, сбить нас с толку, но к счастью нашему, это ему туго удавалось, если в первые моменты допроса кто-либо из нас и обмолвился неосторожно или же подписал протокол, не читая, то при следующих допросах этого уже не было, и каждый из допрашиваемых товарищей держал себя вполне корректно.

К зиме 1906 года сменили начальника тюрьмы: вместо латыша, начальником назначили поляка, в тюрьме наступили новые порядки и усиление строгостей, участились обыски, карцеры, была попытка лишить нас права дежурства на кухне, которая отчасти начальству удалась – пища ухудшалась, и в результате этих притеснений к весне 1907 года дело дошло до голодовки.

К этому времени я уже был переведен в так называемый следственный корпус, хотя и в «срочном» корпусе, за исключением десяти-пятнадцати человек, осужденных за уголовные преступления, сидели политические, тем не менее существовал и следственный корпус, куда переводили «проштрафившихся».

Подготовка к голодовке шла нормальным темпом и, по всей вероятности, прошла бы единодушно, если бы в день начала её не произошел следующий маленький казус: кто-то из нашего корпуса, отказавшись утром от казенного пайка и

кипятка, в то же время принял выписанный им на собственные деньги белый хлеб, что повлекло к целому ряду недоразумений и дошло до того, что «срочный» корпус отказался участвовать в голодовке.

Начальник тюрьмы, предполагая, что инициатором голодовки являюсь я, снесся с кем следует, и несколько дней спустя я был вызван в контору со всеми вещами для отправки в Рижскую тюрьму.

Тут я оговариваюсь. Со дня перевода меня и других товарищей во Псков, я стал вести дневник и продолжал его до последнего дня отправления в Ригу. В дневнике у меня был ряд острых и откровенных записей, касающихся поведения тюремной администрации по отношению к приговоренным полевыми судами к смертной казни, и начальник тюрьмы, зная это и желая мне за мои «грехи» отомстить, в момент отправки потребовал сдачи тетрадей. На мой недоуменный вопрос он с иронией ответил, что он направит их к прокурору суда для приобщения к Руенскому делу. Я понял, что эта угроза полна последствиями не только для меня лично, но и для моих сотоварищей по делу, и поэтому, поспешно разбираясь в этих тетрадях, вырвал несколько листов из них, разорвал на мелкие кусочки и тут же разорванное съел, бросив начальнику тюрьмы тетради на стол со словами:

– Натe, скушайте на здоровье!

Начальник тюрьмы, рассердившись на такую дерзость, приказал старшему конвойному заковать меня в наручные.

Конвойный начальник по уставу не обязан был ему подчиниться, о чем я ему и напомнил, но так как одно дело – устав и неподчинение по закону, а другое – находиться в подчинении у уездного воинского начальника, хорошего друга и приятеля тюремного начальника, то старший конвойный молча выполнил этот приказ. Я был отправлен на вокзал для дальнейшего следования в арестантском вагоне, закованным.

Отправка в Ригу меня лично радовала, так как была надежда встретиться с товарищами из центра (с работниками из районного комитета и из ЦК) и кое-чему у них научиться. Одно, что беспокоило, это – прохождение через этапное отделение Рижской губернской тюрьмы, где, по словам ряда товарищей, уголовная шпана обирала политических до ниточки, причем в этих действиях им способствовали тюремные надзиратели, и несмотря на ряд следствий со стороны высшей тюремной администрации и прокурорского надзора, виновных в этом не находили, у нас создалось определенное впечатление, что в этих грязных делах косвенно участвует и высшая тюремная администрация. Иначе мы не могли объяснить себе тех частых краж, которые происходили на глазах у надзирателей и иногда сопровождались серьезным сопротивлением со стороны политических. Впоследствии выяснилось, что тюремные надзиратели во всех этих безобразиях принимали самое активное участие, вынося награбленное на свободу, продавая его и делясь с уголовными. Прибыв в пересылку Рижской губернской тюрьмы, мы сговорились меж-

ду собой, что разбивать нас по одиночке не позволим и потребуем поместить всех нас или в одной камере, или в камерах, где уже сидят политические. По прибытии в тюрьму, после обыска, мы так и сделали, пытавшийся разъединить нас старший надзиратель, получив категорический отпор, принужден был поместить нас вместе. Нас разместили в камере без окон, с деревянными решетками на коридор, все это отделение напоминало плохой зверинец. Наша камера оказалась грязной и полной клопов, матрацы, которые нам были выданы, представляли из себя соломенную пыль, всыпанную в грязные мешки. Для того, чтобы клопы ночью не съели нас окончательно (ко вшам мы уже привыкли), мы, разместившись посредине камеры, налили на полу вокруг себя воду – в виде искусственного заграждения; однако, ночью оказалось, что клопы Рижской пересыльной тюрьмы являются цивилизованными насекомыми: добравшись до воды и увидев, что через нее клопу не перелезть да, пожалуй, и не переплыть, они снова, взбираясь по стене наверх и затем по потолку на середину камеры, преспокойнейшим образом, не боясь убиться, опускались вниз на нас.

Понятно, бороться с этим нам было не под силу и пришлось кое-как провести эту ночь, зато утром устроили на них облаву с кипятком.

На следующий день началось обычное представление: к решетке подбегали какие-то субъекты, прося разменять то рубль, то трехрублевку, но так как мы знали, что подобные

размены всегда кончаются тем, что меняющий остается без денег, то мы на эти удочки не поддавались, к тому же рубли были фальшивые (не помню точно, осенью или зимой 1907 года в Рижской губернской тюрьме была раскрыта целая фабрика фальшивых рублей, полтинников, двугривенных и другой серебряной монеты).

Через несколько дней меня перевели в главный корпус и поместили на коридоре смертников. На этом же коридоре сидели и осужденные в крепость, и осужденные уголовные, – так что как смертники, так и следственные крепостники и уголовные два раза в день ходили вместе на прогулку, один раз в продолжение пятнадцати-двадцати минут в коридоре, а другой – в продолжение такого же срока во дворе. Я был переведен к одним из тех, которые на-днях должны были идти в суд, вскоре они были приговорены к смертной казни, и меня в тот же вечер перевели в следующую камеру. Через несколько дней их вызвали в контору и сообщили, что приговор утвержден. С замиранием сердца ночью весь коридор ожидал их вывода на казнь. Около двенадцати часов зашагали по коридорам люди, открывая двери, защелкали затворы замков, и в результате мы услышали последние возгласы осужденных товарищей:

– Прощайте, товарищи! Доканчивайте начатое дело.

В ответ на это по всему коридору дружно раздалось; – «Вы жертвою пали в борьбе роковой»

Мы чувствовали и знали, что через полчаса, максимум че-

рез час, их уже не будет в живых. Вечная память погибшим – была наша последняя дума.

Эти и тому подобные картины продолжались несколько месяцев подряд, так, через несколько дней новых восемь человек пошли на суд. Хотя суд и разбирал их дело в продолжение нескольких дней, но как они сами, так и мы прекрасно знали, что все это делается только для формальности и что им тоже будет вынесен смертный приговор – они, действительно, были приговорены к расстрелу. Получив через несколько дней извещение об утверждении приговора, они роздали на последней прогулке свое лучшее белье, обувь и одежду малоимущим товарищам, заменив все это худшим. Вечером перед исполнением приговора им было разрешено свидание с родными, под видом родных должны были явиться знакомые партийцы и партийки и передать им запеченный в печенье и пирожное яд, ибо эти товарищи решили покончить с собою еще до прихода царских палачей. Что было с ними, получили ли они ожидаемую передачу или нет, мы не знали, ибо тюремный «телеграф» нам об этом ничего тогда не сообщил, и поэтому, как и в первый раз, мы с трепетом и волнением ждали ночи. Снова в коридоре раздались шаги, зазвенели ключи, защелкали замки, забряцало оружие, двери смертников открылись, обычных возгласов не раздавалось, и через несколько секунд была лишь слышна какая-то особая суэта, а затем все смолкло и замерло. Неужели? Думалось каждому из нас – неужели царским палачам

не удалось свершить свое дело над приговоренными товарищами?

Несколько времени спустя заработал тюремный «телеграф», он извещал, что трое из смертников, приняв яд, покончили с собой, четырех остальных в предсмертных судорогах отнесли в больницу, а восьмой, не принимавший яда, находится в такой-то камере.

Встревоженные тем, что не всем смертникам удалось покончить с собою и не желая теперь тревожить дальнейшими расспросами оставшегося в живых товарища, мы, проведя бессонную ночь, едва дождались утра. Мы надеялись, что нам удастся в коридоре лично переговорить с оставшимся в живых товарищем, но, когда после проверки мы кинулись в коридор, там нашего товарища не было. Оказалось, что его не выпустили уже в коридор. Подойдя к его камере, мы узнали, что он лично не принял яда по ряду политических соображений, а остальные четыре товарища не отравились, должно быть, потому что размоченные в воде пирожные и печенье не оказали своего полного действия. Для меня лично не было понятно, почему именно пирожное и печенье размачивали, а не съедали его в таком виде, как оно было доставлено в тюрьму, впоследствии, когда я расспрашивал об этом врачей, последние объяснили это лишь привычкой человека принимать всякие лекарства на воде.

Мы думали, что после подобной истории товарищу, не принявшему яд, смертная казнь будет заменена каторгой, то

же самое предполагалось и по отношению к отнесенным в больницу товарищам, однако это не подтвердилось, и в следующую ночь оставшийся в живых товарищ был выведен и расстрелян, а остальные были казнены по выздоровлению.

В продолжение двух-трех месяцев в нашем коридоре пребывало двадцать четыре смертника, большинство из которых было расстреляно.

Не безынтересно будет описать некоторые моменты из переживаний этих смертников, одни, как читатель видит из приведенных двух примеров, держали себя бодро и смотрели смерти прямо в глаза, другие впадали в ненормальное состояние, а у третьих в продолжение всего лишь нескольких часов волоса превращались в белый, как снег, цвет.

И как не стать ненормальным! Я помню случай, когда один из товарищей, будучи приговорен к смертной казни, в продолжение тридцати суток ожидал расстрела и на каждый свой запрос, предлагаемый тюремной администрации, получал ответ, что приговор оставлен в силе. В продолжение этих тридцати суток товарищ нередко впадал в ненормальное состояние, но если в течение первых двух-трех недель от него еще можно было добиться кое-какого толкового слова, то в конце месяца его все уже считали вполне сумасшедшим. По истечении тридцати суток он был вызван в контору, и ему было объявлено, что смертная казнь заменена пятнадцатю годами каторги, а спустя еще пятнадцать суток ему объявили, что каторга заменена ссылкой. Товарищ снова ожил и по-

степенно стал приходить в нормальное состояние. Для нас, знавших его и осведомленных о том, что у него нет ни родных, ни знакомых, что он совершенно одинок, было непонятно, чем объяснить это тридцати суточное ожидание приговора, а затем замену смертной казни каторгой, и мы себе не могли этого объяснить иначе, как самым бесчеловечным издевательством царских палачей над жизнью человека. Так, в вечной тревоге проходила ежедневная наша жизнь в Рижской губернской тюрьме, все это, понятно, отражалось на наших учебных занятиях, на нервах и на состоянии здоровья вообще.

Около этого времени я заболел малярией и брюшным тифом, и состояние моего здоровья дошло до того, что я не в состоянии был подняться с пола. Медицинская помощь как мне, так и вообще всем больным оказывалась порошками, к врачам мы не ходили, так как они вели себя по-скотски, особенно по отношению к политическим заключенным. После того, как я несколько дней пролежал на полу, со стороны тюремного фельдшера была сделана попытка отправить меня в больницу Центральной тюрьмы, но так как каждый из нас знал, что эта отправка происходит в летнем арестантском костюме и на легковом извозчике (а ехать нужно было почти пять верст) и что эти путешествия всегда оканчивались смертью, — я от отправки отказался, заявив, что меня могут отвезти лишь насильственным путем. Я был оставлен в покое и постепенно, благодаря уходу товарищей по камере,

выздоровел.

В отношении почты здесь дело обстояло благополучно, и мы имели возможность ежедневно получать газету и письма.

К концу лета меня отправили в Рижскую централку. В смысле учебы она, как я и предполагал, представляла из себя высшее учебное заведение царского правительства Прибалтики, помимо общеполитических и экономических вопросов, заключенные, разбившись по группам, изучали здесь и другие всевозможные вопросы, вплоть до арифметики, геометрии и языков. Режим в Рижской централке был гораздо строже, чем во всех предыдущих тюрьмах, за нижние матовые стекла никто не смел высовывать голову, ибо немедленно раздавался выстрел наружного часового. Но из этого мы нередко делали повод, чтобы дразнить часовых; особенно любили мы досаждать учебной команде, которая относилась к нам по-зверски. Рассчитав всевозможные направления рикошетных пуль, мы частенько прятались по углам и, прикрепив к одной палочке маленькое зеркальце, а к другой – белую тряпочку и следя в зеркало за часовым, палочкой и тряпочкой делали жесты, как будто переговариваемся с товарищами соседнего корпуса, часто эти наши фокусы кончались выстрелами, которые по большей части попадали в стену, а иногда и в потолок камеры. Мы это делали потому, что знали, что у тюремного и военного „начальства" существовал обычай (или, может-быть, даже закон), по которому, в случае, если часовой выстрелит впустую, он подвергается

семидневному аресту, если же убьет заключенного – получает пятирублевую награду, а в случае поранения – три рубля. Конечно, такая наша игра – дразнение могла и кончиться для живущих в камере печально, но всякий из нас настолько был озлобленным против царских слуг, что не считался с возможными печальными последствиями, а делал это лишь для того, чтобы иметь хоть маленькую радость узнать, что часовой учебного батальона получил награду – семидневку. Особенное удовольствие нам доставляло дразнить их зимой, когда, закутавшись в тулупы, они, увидя наш платочек, раскутывались, заряжали винтовки, приготавливаясь к стрельбе, а в это время уже платочек исчезал и появлялся опять лишь после того, как часовой снова закутывался... Так иногда мы доводили часового до исступления, до вызова дежурного старшего и дежурного помощника начальника, которые, в свою очередь, простаивали по несколько минут у часового, желая убедиться в справедливости его сообщений, однако в таких случаях платочек не показывался.

В остальном жизнь в Рижской центральной тюрьме протекала нормальным порядком, за исключением тех ночей, когда под оградой тюрьмы расстреливали то по одному, то по несколько человек, приговоренных к смертной казни.

Помимо ежедневных занятий учебой, благодаря хорошо налаженной связи с волей и благодаря тому, что в Рижской центральной тюрьме сидели члены районных комитетов партии и члены ЦК, неоднократно со стороны ЦК партии в

тюремному присылался для обсуждения целый ряд принципиальных и практических вопросов, постановления по этим вопросам высылались на волю в ЦК и служили материалом при обсуждении на заседании ЦК того или иного вопроса. Не помню точно, когда, но как-то раз, по обсуждению одного из таких вопросов, согласованная с политическими заключенными всех камер и отредактированная резолюция была напечатана на трех четвертях листа типографским шрифтом с подписью: «Типография Рижской центральной тюрьмы» и послана на волю. Через некоторое время после отправки этой резолюции во всём главном корпусе и ко всем камерам одновременно были приставлены – где по часовому, а где и по надзирателю, и начались поголовные обыски, при чем для нас показалось странным, что при всей тщательности обысков все нелегальное, как-то: ножи, бритвы, карандаши и тому подобное, не отбиралось. Чего искала тюремная администрация, – для нас было непонятно, тем более что среди обыскивающих многие находились в гражданском платье (шпики). Когда обыск кончился, и мы обратились к дежурному помощнику начальника с вопросом о его причине, то получили ответ, что мы сами должны прекрасно знать, что они ищут нашу типографию и шрифт. Среди заключенных раздался хохот.

Оказалось, что тюремная администрация, поймав одну из вышеозначенных резолюций, вообразила, что такую листовку можно напечатать лишь на типографском станке и то

лишь при наличии фунтов пятнадцати-двадцати шрифта, тогда как мы имели в тюрьме всего лишь пару горсточек этого шрифта и печатали,— правда, очень внимательно и тщательно,— ручным способом, по отдельным строчкам.

Этот факт читателю покажется курьезным, но для тюремной администрации в то время он, как видно, никакого курьеза не представлял.

Кстати, о почте. Дело почты (нелегальной) в Рижской центральной тюрьме было так хорошо организовано, что этому мог бы позавидовать любой легальный «Почтель» (свидетельствую это, как человек, долгое время бывший выборным камерным почтальоном). Притом, конспирация в этом вопросе была поставлена еще лучше самой почты, так, например, если бы, паче чаяния, в камере оказался бы случайный провокатор, то он мог бы выдать только камерного почтальона, и то лишь в момент отправки почты, сообщив об этом теми или иными сигналами надзирателю. Ни главного почтамта, ни его отделений он выдать не мог бы, так как не знал ни их месторасположения, ни начальников, ни других мероприятий по отправлению почты. Даже камерный почтальон, если б он оказался проходимцем-прохвостом, мог бы выдать лишь ту почту, которая концентрировалась у него к моменту отправки, он также не имел бы возможности выдать ни «начальника отделения», ни «начальника почтамта» (как мы шутя называли товарищей, ведавших этим делом), ибо ни того ни другого никогда лично не видел, а знал лишь по

голосу и по кличке.

Вопреки всей строгости охраны и тюремных порядков, почта доставлялась адресату, находившемуся в Риге, не более как в двенадцатичасовой срок с момента ее отправления, прямо на, квартиру, письма, отправляемые вне пределов города Риги, запечатывались (на воле) в конверты и отправлялись почтой по указанным адресам. Для того, чтобы, в случае провала, сыскная ничего не могла бы по отправляемым секретным запискам обнаружить и разузнать, существовал такой порядок отправки: на каждой записке или письме или нескольких записках (каждый пакет в упаковке – не более спичечной коробки) надписывалась кличка, и пакет отправлялся на свободу, и лишь после того, как получалось сообщение, что почта не провалилась, немедленно вдогонку отправлялись адреса указанных в почте кличек, таким образом, если бы провалились эти адреса, то и тогда сыскная никаких концов бы не нашла.

За оградой эту почту принимали партийные товарищи, сортировали и с нарочными доставляли по адресам. Доставка за ограду такой посылки обходилась всего-навсего в один рубль, так что в большинстве случаев, при наличии пяти-шести и больше записок в одном пакете, наша почта обходилась гораздо дешевле официальных почтовых отправлений.

Внутренний порядок отправки был таков: ежедневно за час до отправки почты из «почтамта» по тюремному «телеграфу» (перестукиванию) получалось извещение всем ка-

мерным почтальонам – почту. Камерные почтальоны извещали об этом заключенных своей камеры, и те товарищи, которые имели необходимость что-либо сообщить на волю, садились за письмо. Все написанное упаковывалось, смотря по размерам, в один, два или три пакета, стоимость их взыскивалась равномерными долями с отправителей деньгами или же почтовыми марками.

Сообщив в «почтамт», что все готово, почтальон должен был ждать извещения, когда будет принята почта, получив это извещение, почтальон и еще два-три товарища, постучав в дверь, просили надзирателя выпустить их в уборную, через трубы которой на веревочках почта доставлялась в «почтамт» и получалась оттуда; правда, работа эта была очень грязная, но и она считалась партийной обязанностью в тюрьме. Дальше уже «почтамт» отправлял почту по назначению, таким же порядком доставлялись и газеты.

Чтобы покончить с описанием отдельных эпизодов и явлений нашей тюремной жизни, остановлюсь еще на взаимоотношениях с тюремной администрацией, взаимоотношениях между собой и на наших коммунах.

Что касается взаимоотношений с тюремной администрацией, особенно высшей, то они бывали нормальными лишь постольку, поскольку в тюрьме было спокойно, как только начиналась, по словам тюремной администрации, «волынка», а по-нашему – протесты, сейчас же эти взаимоотношения портились. Портились они из-за прогулки, бани, белья,

передачи, выписки продуктов, обращения с нами и тому подобное. Так, на прогулке администрации частенько казалось, что мы не так ходим, не соблюдаем дистанции, разговариваем между собой и прочее, мы же считали, что мы не солдаты, а свободные граждане, лишённые на время свободы. Баня не всегда была вовремя, для мытья давали маленькие кусочки мыла, а белье казенное не всегда бывало и средней чистоты. Передачи (чай, сахар), проходя через «теплые руки» обывавших и разносивших их по камерам надзирателей, как-то необыкновенно таяли, и фунты и четвертушки превращались в полуфунты и осьмушки. Правда, мы прекрасно понимали, что обыкновенная 12° тюремная температура могла влиять на порчу некоторых продуктов, но, чтобы она имела такое большое влияние на чай и сахар, мы никак согласиться не могли, и понятно, из-за таких «пустяков» частенько портились наши «хорошие» взаимоотношения с низшей и высшей тюремной администрацией. В отношении же выписки продуктов дело обстояло еще хуже: всегда почти так получалось, что хлеб и ситничек выдавали без привесочков, колбасу, грудинку и прочее, без довесочков, как будто приказчики магазина так наспециализировались в развеске, что все это отрезали с безупречной точностью, кроме того, продукты не всегда бывали первой свежести, а по ценам – дороже рыночных.

Правда, бывали и другие, более резкие причины для обострения отношений. Например, однажды, не то из-за от-

сутствия мест, не то в наказание, из дисциплинарного батальона перевели в одиночки централки нескольких политических заключенных – солдат. Дня через два тюремный телеграф выстукивал: «нас не пускают на прогулку, в баню, мы обрастаем паразитами, мы объявили протест, отказавшись от пищи, товарищи, поддержите нас».

Как не поддержать? Для начала объявляем прогулочную забастовку. Приходит начальство осведомиться, в чем дело. Мы объясняем, что не желали бы обострять отношений, да вынуждены из-за беспорядка, и предупреждаем, что если придется, то объявим и голодовку. Начальство денька два грозило нам всеми «египетскими карами» (карцером, отправкой в другие тюрьмы и тому подобное), но все же до голодовки не допустило и уступило. Небезынтересно будет также знать, как мы боролись с глупыми приказами. Их были десятки, но я остановлюсь лишь на одном из них. Как-то раз был издан приказ, что кровати должны оставаться поднятыми от поверки до поверки. Звонок на первую поверку раздавался, кажется, в семь часов утра и на вечернюю в семь часов вечера, поверка, начинавшаяся в семь часов утра в первой камере, кончалась примерно после восьми часов утра в последней (то же самое и вечером). В виде протеста мы толковали этот приказ по-своему и с утренним звонком поднимали кровати, с вечерним же таковые опускали; так что в результате получалось, что при поверке последней камеры обходивший дежурный помощник с надзирателями камер уже

заставал нас на кроватях. Понятно, что подобные наши выступления обостряли отношения, но мы все же, благодаря таким выступлениям, добивались человеческого отношения к нам.

Надзирателей, особенно жестоких, зверских, мы изводили другими путями. Так, например, четырнадцатая камера сделала из нитки шнур, в длину всей камеры, прикрепив один конец к пустой спичечной коробке с перевязанной крест-на-крест другой ниточкой и завязав на втором конце петлю. Ночью, во время дежурства намечаемого надзирателя, когда уже все улеглись и спали, когда по всей тюрьме наступила мертвая тишина, мы привязали конец нитки со спичечной коробкой к решетке двери, провели шнур по стене (с таким расчетом, чтобы надзиратель его не видел) до последней койки и, просунув в петлю карандаш и натянув нитку, стали вертеть карандаш, держа руку под одеялом. Получился звук усиленно работающего телеграфа, и надзиратель, встревоженный необыкновенным явлением, забегал в недоумении, по коридору, стремясь разгадать, откуда доносится этот звук; все его поиски, однако, ни к чему не привели. Это повторялось и в последующие дежурства данного надзирателя. Так как большинство старых служак – надзирателей было суеверно, мы стремились его убедить, что это по ночам где-то работает «домовой». Поверил ли он нам или нет, но во всяком случае через несколько недель он попросил перевода на другой пост, что тюремной администрацией было удовле-

творено, таким образом, мы от него избавились.

Что касается наших взаимоотношений между собою, то они далеко не отвечали лозунгу – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», и это понятно, ибо в революции 1905 года участвовали не только пролетарии, но и некоторая часть зажиточного элемента, интересы которого с нашими расходились, такие лица стремились от пролетариев укрыться в стены одиночек. Нас это нисколько не пугало, так как с нами оставалось руководящее партийное ядро, которое было занято нашим самообразованием, и ему мы многим обязаны и по настоящее время. Не говоря уже о горячих спорах, которые возникали между социал-демократами и социал-революционерами по разным принципиальным и тактическим вопросам, немало споров вызывала и организация в камерах «коммун». Еще до их основания для заключенных существовали две кухни: так называемая политическая и общая. Из политической кухни получали обеды товарищи, за которых, под видом родных, партийный Красный Крест доплачивал определенные суммы в месяц; все остальные пользовались общей кухней. Так как такой порядок сами заключенные признали ненормальным, то было решено, что все товарищи, имеющие возможность, будут доплачивать по рубль пятьдесят в месяц, а для остальных тем или другим путем будут изысканы соответствующие средства. Однако, оказалось, что не всякий хотел получать обеды из политической кухни, и в результате дело дошло до полной ликвидации этой кухни

и организации «коммун». Коммуны существовали во всех камерах политических, но не все сидельцы в них участвовали—и, главным образом, по пустяшным поводам, как-то: одни хотели иметь ливерную колбасу, другие килек и тому подобное, а так как все вкусы и требования не могли быть удовлетворены из-за отсутствия достаточных средств, то некоторые товарищи, превознеся вкусовые потребности, от участия в «коммуне» отказались. Тем не менее «коммуны» существовали в продолжение всего времени нашего пребывания в тюрьме.

К концу декабря 1907 года следствие по нашему делу было закончено, и последовал нижеследующий приказ временного прибалтийского генерал-губернатора о предании нас суду:

17 декабря 1907 г. № 463.

ПРИКАЗ ВРЕМЕННОГО ПРИБАЛТИЙСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА.

Город Рига.

Крестьяне: Эдуард Индриков Клявин, Рикард Петров Рейн, Эдуард Виманов Грозин, Гуго Адамов Свикис, Карл Карлов Берзин, Язеп Николаве Стенг, Эдуард Янов Бринум, Анц Карлов Скуя, Михаил Яковлев Аболтин, Симон Симонов Кукайн, Сприц Зандеров Плотнек, Роберт Яковлев Снедзе, Индрик Микелев Данц, Мартын Адамов Эглит, Кришьян Сприцев Боч, Ян Карлов Теттер, Петр Антонов Пукит, Ян Янов Рокис, Эрнст Адамов Цесис, Ян Гансов Лац,

Индрик Густавов Трейер, Ян Данилов Кеспер, Карл Янов Тимзе, Ян Янов Эндзин, Ян Гансов Сихвер, Симон Адамов Лус, Ян Якобов Блукис, Ян Карлов Зарин, Карл Янов Бринум, Рикад Янов Озолин, Эдуард Самуилов Моор, Ян Петров Бункис, Эдуард Симонов Кяукис, Рикард Адамов Озер, Петр Янов Ширав, Эрнст Карлов Кальценау, Ян Карлов Белдау, Эдуард Детлав, Тенис Юров Пукит, Яков Адамов Спрогис, Эдуард Генрихов Гарклав, Эдуард Иванов Байлит (он же Байле), Эрнст Якобов Томисар, Ян Якобов Петерсон, Роберт Янов Лездкалн, Эдуард Карлов Алксние, Ян Адамов Ринг, Марц Петров Янель, Эдуард Янов Янсон, Адам Адамов Бредит, Адам Карлов Берзин, Август Петров Лайп, Индрик Индриков Эглит, Карл Янов Эглит, Август Карлов Дамбит, Карл Янов Лус, Ян Густавов Клуцис, Эдуард Карлов Кибер, Вольдемар Давов Дунц, Ян Калов Вилкс, Яков Андцев Калнин, Индрик Якобов Микельсон, Анц Вольдемаров Тиммерман, Ян Якобов Цируль, Рикард Янов Швальбе, Микель Микелев Ляц, рядовой 15-го пехотного Шлиссельбургского полка Эрнст Петров Силин, мещанин Леопольд Михайлов Зильберт и германский подданный Роберт Карлов Шнейдер на основании 1313, 1349 и 1355 ст. ст. XXIV кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3 и 1 п. 17 ст. прилож. к ст. IV ст. о предупреждении и пресечении преступлений передаются мною Петербургскому военно-окружному суду по обвинению: Эдуард Клявин, Рикард Рейн, Эдуард Грозин, Гуго Свикис, Карл Берзин, Язеп Стенг, Эдуард Бринум, Анц Скуя,

Михаил Аболтин, Симон Кукайн, Сприц Плотнек, Роберт Снедзе, Индрик Данц, Мартын Эглит, Кришьян Боч, Ян Теттер, Петр Пукит, Эрнст Цесис, Ян Рокис, Ян Лац, Индрик Трейер, Ян Кеспер, Карл Тимзе, Ян Энзин, Ян Сихвер, Симон Лус, Ян Блукис, Ян Зарин, Карл Бринум, Рикард Озолин, Анц Тиммерман, Эдуард Моор, Ян Бункис, Эдуард Кяукис, Рикард Озер, Ян Цируль, Петр Ширав, Эрнст Кальценау, Ян Белдау, Эдуард Детлав, Тенис Пукит, Яков Спрогис, Эдуард Гарклав, Эдуард Байлит, Эрнст Томисар, Ян Петерсон, Рикард Швальбе, Роберт Лездкалн, Эдуард Алкснис, Ян Ринг, Марц Янель, Эдуард Янсон, Адам Бредит, Адам Берзин, Август Лайп, Индрик Эглит, Карл Эглит, Карл Дамбит, Карл Лус, Ян Клуцис, Микель Ляц, Эдуард Кибер, Вольдемар Дунц, Ян Вилкс, Яков Калнин, Индрик Микельсон, Леопольд Зильберт, Роберт Шнейдер и Эрнст Силин в том, что в ноябре и декабре месяцах 1905 года вошли в состав Руенского революционного сообщества, присвоившего себе наименование «Полевой центр Пламя» и поставившего целью своей деятельности насильственное отторжение от Российской империи части Прибалтийского края путем введения в ней, вместо установленного основными законами государственного и общественного строя, демократической республики, каковое сообщество для достижения означенной цели устраивало митинги, на которых распространяло свои преступные идеи, организовало политическую забастовку на Перново-Ревельском железно-дорожном пути, организова-

ло народную милицию для противодействия всем лицам, не сочувствующим революционному движению, преобразовало посад Руен в город и самовольно избрало на демократических началах Руенскую «Городскую Думу» и «Городской Суд», сместив законных должностных лиц; в период с 1 по 20 декабря 1905 г. организовало и привело в исполнение ряд вооруженных нападений на имения с отобранием в них оружия, а именно на имения: Виркен (1 декабря), Аррас и Мецкюль (3 декабря), Герингсгоф; дважды на имение Мойзекюль, три раза на Зейерсгоф, на Гензельсгоф, Олерсгоф и Пайпс, на имение Тигниц (13 декабря), Полленсгоф (19 декабря), а в ночь на 7 декабря произвело вооруженное нападение на воинскую команду, сопровождавшую от станции Ревель до станции Валк поезд с новобранцами; 11 декабря сообщество это насильственно обезоружило чинов руенской полиции: младшего помощника уездного начальника Пржиалговского, урядников Бейнара, Траулина, Аспера, Резгала, жандармского унтер-офицера Ковально и младшего помощника перновского уездного начальника Петкевича, каковые действия Руенского революционного сообщества вызвали отправление в посад Руен и его окрестности воинского карательного отряда, причём обвиняемые: Эрнст Кальценау участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Виркен и Тигниц; Эдуард Кибер участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Виркен, Герингсгоф, Зейерсгоф

и в обезоружении младшего помощника уездного начальника Пржиалговского; Ян Бункис участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Аррас, Мецкюль и Тигниц; Рикард Рейн участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Мецкюль и Тигниц, в обезоружении чинов полиции Пржиалговского, Бейнара и в нападении на воинскую команду, сопровождавшую от станции Ревель до станции Валк поезд с новобранцами; Михаил Аболтин участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Мойзекюль и в обезоружении младшего помощника начальника уезда Пржиалговского; Эдуард Кяукис участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Мойзекюль и Тигниц; Эдуард Гарклав участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Мойзекюль и Тигниц и в обезоружении старшего помощника начальника уезда Пржиалговского; Ян Кеспер участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях: Мойзекюль и Полленсгоф; Эдуард Детлав участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях: Зейерсгоф, Гензельсгоф, Олерсгоф, Пайпс, Тигниц и в обезоружении чинов полиции: Траулина и Аспера; Сприц Плотнек участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях: Зейерсгоф и Тигниц и в нападении на воинскую команду, сопровождавшую от станции Ревель до станции Валк поезд

с новобранцами; Карл Тимзе участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Зейерсгоф и Полленсгоф; Анц Тиммерман участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Зейерсгоф и Тигниц; Карл Бринум участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Гензельсгоф, Олерсгоф, Пайпс и Тигниц; Ян Теттер и Индрик Трейер участвовали в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Полленсгоф и Тигниц; Язеп Стенг участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имении Тигниц и в нападении на воинскую команду, сопровождавшую от ст. Ревель до станции Валк поезд с новобранцами; Рикард Озолин участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имении Тигниц и в обезоружении младшего помощника Перцовского уезда начальника Петкевича; Карл Берзин участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имении Тигниц и в нападении на воинскую команду, сопровождавшую от станции Ревель до станции Валк поезд с новобранцами; Гуго Свикис участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имении Тигниц, в обезоружении полицейских чинов: Пржиалговского, Брейнара, Траулина, Аспера, жандармского унтер-офицера Ковально, а также в нападении на воинскую команду, сопровождавшую от станции Ревель до станции Валк поезд с новобранцами; Анц Скуя участвовал в открытом во-

оруженном нападении и похищении оружия в имени Тигниц и в обезоружении чинов полиции Пржиалговского и Аспера; Симон Лус участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имени Тигниц и в обезоружении младшего помощника перновского уездного начальника Петкевича; Эдуард Байлит участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имени Тигниц и в обезоружении младшего помощника уездного начальника Пржиалговского; Эрнст Силин участвовал в обезоружении полицейского урядника Аспера и жандармского унтер-офицера Ковально; Яков Спрогис участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имени Тигниц, в обезоружении младшего помощника начальника уезда Пржиалговского и в нападении на воинскую команду, сопровождавшую от станции Ревель до станции Валк поезд с новобранцами; Эдуард Моор, Роберт Шнейдер, Ян Цируль, Ян Белдау, Леопольд Зильберт, Эдуард Алкснис и Блукис, Роберт Лездкалн, Эрнст Томиссар, Марц Янель, Ян Петерсон, Адам Берзин, Ян Ринг, Тенис Пукит, Адам Бредит, Август Лайп, Рикард Швальбе, Индрик Эглит, Ян Зарин, Мартын Эглит, Петр Ширван, Эдуард Янсон, Ян Сихвер, Индрик Данц участвовали в открытом нападении и похищении оружия в имени Тигниц; Петр Пукит, Эрнст Цесис, Ян Энзин и Ян Рокис участвовали в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имени Полленсгоф; Кришьян Боч, Вольдемар Дунц, Ян Вилкс, Яков Калнин, Индрик Ми-

хельсон участвовали в обезоружении младшего помощника начальника уезда Пржиалговского; Эдуард Грозин, Эдуард Клявин, Рикард Озер участвовали в нападении на воинскую команду, сопровождавшую от станции Ревель до станции Валк поезд с новобранцами; Карл Эглит участвовал в обезоружении полицейского урядника Траулина; Эдуард Бринум участвовал в открытом вооруженном нападении и похищении оружия в имениях Г'ензельсгоф, Оллерсгоф и Пайпс; Август Дамбит, Карл Лус, Ян Клуцис, Микель Ляц, Роберт Снедзе и Симон Кукайн, не принимая непосредственного участия в указанных выше насильственных действиях, тем не менее на митингах путем устной пропаганды подстрекали к их совершению местных жителей, к которым принадлежали и вышеупомянутые непосредственные исполнители вооруженных нападений на имения, и обезоружению чинов полиции, и являлись главными руководителями в насильственном смещении законных властей. Действия эти по отношению к каждому из шестидесяти девяти вышеназванных лиц обвиняемых предусмотрены 100 ст. Угол. Код.

Что же касается до обвиняемых в вооруженном нападении на имение Тигниц: Августа Силина, Карла Дунца и Яна Удриса, то принимая во внимание, что несмотря на ряд следственных действий не удалось установить их виновность как в нападении на имение Тигниц, так и вообще в принадлежности к Руенскому революционному сообществу и данные дознания в этом отношении не нашли себе подтверждения,

на основании 556 ст. XXIV кн. С. В. П. 1869 г. изд. 3 постановляю: уголовное преследование их по обвинению в указанном выше преступлении дальнейшим производством прекратить.

Относительно же обвиняемых крестьян: Якоба Краузе, Иоганна Лукстина, Густава Боча, Петра Балтина, Рикарда Берзина, Юлиуса Клявина, Петра Пайства, Иоганна Каллиста, студента Емельяна Аболтина, мещанина Берка Лисица и Болеслава Соболевского и рядового стражника Тениса Байлита, в виду того, что они скрылись и до настоящего времени не разысканы, постановляю: дальнейшее производство дела о них приостановить впредь до их поимки.

Генерал-от-инфантерии барон Мелле Закомельский.

Так как к этому сроку нас всех, руенцев, уже концентрировали в ревельские тюрьмы, то и я из Риги был переведен в Ревель и помещен вместе с другими девятью товарищами из Руена в ревельскую следственную тюрьму. Порядки здесь были совершенно иные, чем во всех других тюрьмах, в которых я до сих пор сидел. Начальник тюрьмы – какой-то ненормальный тип, – по усмотрению и надобности, считал нас то политическими, то уголовными, то чем-то вроде бандитов, придираясь ко всякому случаю и стремясь нас переодеть в казенную одежду. То же происходило и с другими политическими заключенными, в результате чего несколько камер, будучи насильственно раздеты, выбросили из своих камер казенную одежду, и несмотря на зимний период, несколько

недель проходили голыми. Не помогли никакие протесты и со стороны нашей камеры, так как тюремное начальство не считало нужным считаться с нами. Положение ухудшилось еще и тем обстоятельством, что часть заключенных, истрепав свою одежду в продолжение почти двух лет, рады были получить казенное обмундирование и в конечном итоге, благодаря разрозненности действий, все были переодеты. Помимо этого случая, больших конфликтов с тюремной администрацией не происходило.

Если было тягостно пребывание в остальных камерах, которые в большей своей части представляли зверинец, находясь в коридоре без окон и окруженные толстыми железными брусьями, то и в нашей 10 камере, имевшей приличное окно, через которое мы видели ежедневно кусочек неба, находиться было тоже не совсем приятно, так как под нами размещались до казни приговоренные к смерти товарищи. Каждую ночь внизу раздавались шум и голоса уводимых товарищей, а иногда разыгрывалась и целая свалка. В большинстве случаев осужденные товарищи просили нас по «телефону» (по ниточке через окно) прислать им ножи, предполагая при взятии их для отвода на казнь оказать сопротивление; мы по возможности удовлетворяли эти просьбы, но и у нас широкого запаса даже этого рода оружия не было. Из всех таких сопротивлений помню только один случай, когда старший надзиратель был изрядно «поцарапан», в остальных случаях, по всей вероятности, прибывшие за смертниками

солдаты брали товарищей в штывки, так как несколько раз раздавались отчаянные крики о помощи.

Не вдаваясь в широкое описание нашей жизни в Ревельской следственной тюрьме, я остановлюсь лишь на одном факте, характеризующем, как иногда судьба играла жизнью человека и как подчас при лишении этого человека жизни со стороны царских палачей не бывало единодушия.

Еще во время пребывания в Вольмаркской уездной тюрьме к нам привели одного товарища по фамилии Эйхкин, который, с одной стороны, обвинялся в ряде уголовных преступлений, а с другой – в участии в вооруженном восстании. Из рассказов товарищей выяснилось, что Эйхкин, будучи еще молодым парнем, примерно года за три до восстания, занимался конокрадством и, будучи не раз арестованным, как-то ухитрился бежать из заключения. Пойманный в 1905 году в районе Гайнат и представленный народной милицией на митинг для суда (такие случаи в некоторых местах имели место), Эйхкин, выслушав хладнокровно все предъявленные ему обвинения в конокрадстве, попросил у председательствующего слово и, получив таковое, привел ряд фактов и доказательств, что всё им наворованное принимали «почтенные» серые бароны, некоторые из коих участвуют на данном собрании, далее он повествовал о том, как урядники и полицейские прикрывали его воровские выходки, и кончил заявлением, что против трудового народа он никогда не шел и не намерен идти и что он свою жизнь не жалеет и готов

умереть, если это нужно будет трудовому народу. В ответ на это в собрании раздалось множество голосов:

– Да здравствует Эйхкин.

Будучи тут же освобожден из-под ареста, он попросил вторично слова и заявил, что он клянется своим честным словом никогда больше при новой власти воровскими делами не заниматься, просил в искупление, своих прежних проступков разрешить ему участвовать в революционном движении и дать ему самые опасные поручения. На том же собрании было решено «убрать» одного из наиболее реакционных лесничих и урядника, исполнение чего было поручено распорядительному комитету. Не успел еще митинг кончиться, как было доложено, что по только что полученным сведениям решение собрания исполнено. Далее, по решению собрания должна была быть обезоружена пограничная стража. После неудавшейся попытки обезоружения, в виду оказанного пограничной стражей сопротивления и наличия нескольких раненых со стороны обезоруживающих, попытка эта была оставлена. Но в ту же ночь, когда пограничная стража, уложив свою амуницию на подводы, пыталась лесом пробраться в Ригу, означенным Эйхкиным и еще каким-то вооруженным человеком эта пограничная стража была обезоружена; правда, обезоружившим винтовки достались без затворов. Затем, уже когда прошли карательные отряды, Эйхкин, засевший в одном из имений и объявивший себя управляющим его, роздал батракам и бедноте часть

имущества имения. Окруженный впоследствии казацким отрядом, он выпрыгнул в окно со второго этажа и, сев на свободную офицерскую лошадь, поскакал в сторону леса. Ни пули, ни казацкий отряд его не догнали. Проболтавшись около полутора суток по лесу, он на второй день встретился там с каким-то вооруженным человеком. Предполагая, что этот человек «лесной брат», он приблизился к нему. Последний, подняв ружье и прицелившись, произвел в Эйхкина два выстрела, из которых один попал ему прямо в лицо. Благодаря только тому, что расстояние было далекое и дробь оказалась мелкая, последняя пробила только кожу лица и не попортила костей, глаза остались невредимы. В таком виде он и был доставлен в Вольмаркскую уездную тюрьму. После того, как он попытался еще раз – и неудачно – бежать оттуда, он был закован в кандалы и в скором времени, по окончании следствия, переведен в Ревель, где и был приговорен к смертной казни через повешение. Час исполнения приговора приближался. Не знаю, какие существовали порядки для тюремной администрации по отношению к исполнению приговора, но на Другой день после казни Эйхкина один из старичков-надзирателей рассказал следующее. Начальник тюрьмы, обязанный присутствовать при казни, поручил это дело помощнику, последний, сославшись на болезнь, препоручил его старшему надзирателю, старший надзиратель, также не желая присутствовать при казни, в свою очередь поручил эту обязанность младшему надзирателю и он, рассказывавший,

при этом присутствовал. Так как Эйхкин был приговорен не к расстрелу, а к повешению, то конвой во главе с офицером, доставив его на место казни и передав в распоряжение палача, считал свои обязанности оконченными. Эйхкин, будучи закован в кандалы, с вывернутыми назад руками, став на табуретку под петлей, ударил ногой в грудь палача и бросился бежать. Присутствовавший при казни прокурор приказал солдатам стрелять, а конвойный офицер, неизвестно по каким причинам (по внутреннему ли побуждению или по другим мотивам), закричал:

– Не смей!

И пока прокурор доказывал, что солдаты обязаны исполнять его распоряжение, а начальник конвоя – противное, ибо осужденный приговорен не к расстрелу, а к повешению, Эйхкин сумел отбежать уже от места казни на расстояние 300 шагов. Вблизи виднелся лес, добравшись до которого он мог бы спастись. Но, споткнувшись, он упал и благодаря закованным рукам не мог так быстро подняться. Палач настиг его, после чего Эйхкин был доставлен к месту казни и по всем правилам царского правительства повешен.

День нашего суда приближался, и мы готовились к встрече с царскими палачами. Мы знали, что над нашей головой тоже висела петля и что прокурор потребует нашей смерти, так как об этом говорила ст. 100 уголовного уложения, по которой нас обвиняли. До суда нас посетили защитники, которые расспрашивали каждого в отдельности, как он смотрит

на выдвинутые против него обвинения и какого наказания он ожидает. Я имел двух защитников, один из них, товарищ Хоментовский, начав со мной разговор, тотчас же спросил меня:

– Как вы предполагаете, что с вами будет?

Я ответил, что в худшем случае – петля, а в лучшем – каторга. Улыбнувшись, он сказал:

– Вы правильно оцениваете положение, но мы будем добиваться, чтобы никого из вас на тот свет не отправили...

Затем разговор перешел на общие вопросы, касавшиеся наших свидетелей, состава суда, прокурора и тому подобное. Заседание суда было назначено на 10 июля 1908 года, председателем суда был «известный» генерал Арбузов, а прокурором – сын того Павлова, которого убили в Петрограде. Узнав о таком составе суда, мы, конечно, знали, ибо «по попу и приход», – что от него ничего хорошего ожидать не следует.

По обвинительному акту на суд следовало вызвать 144 свидетеля, вызвано было лишь 44, а фактически явилось 34. Благодаря этим обстоятельствам, вместо месячного разбирательства дела, суд продолжался лишь 10 дней, и уже 20 июля 1908 года был оглашен приговор по нашему делу.

Сообщать о суде что-либо особо не приходится, – разве только то, что каждый день на суд и обратно в тюрьму нас водили закованными по двое в наручные при усиленном конвое. Как читатель видел, всего нас, руенцев, в качестве об-

виняемых было привлечено 69 человек, и понятно, что исполнение всяких судебных формальностей занимало немало времени. На первые вопросы суда, признаем ли мы себя виновными в перечисленных в обвинительном акте обвинениях, всякий из нас ответил отрицательно, несмотря на то, что до этого вопроса секретарь суда, гражданский генерал, усиленно уговаривал нас во всем сознаться, так как, мол, председатель суда «не любит» упорствующих, сознаться же «в преступлениях перед отечеством» значило засовывать голову в петлю. Во время судебного процесса частенько и сам председатель не прочь был с нами побеседовать и, как-то обратившись к товарищу Сихверсу, который уже судебной палатой за те же проступки был осужден на пятилетнее заключение в крепости, генерал Арбузов удивлялся, что ему много дали, получив от Сихверса иронический ответ, что он надеется, что данный суд даст ему не меньше, сконфуженный Арбузов принужден был удалиться.

Свидетели, вызванные в суд, в большинстве случаев, за исключением урядников, от прежних обвинительных показаний отказались, и здесь не помогли и перекрестные допросы прокурора и членов суда. Был и такой случай. Одна из главных свидетельниц, жена руенского священника Карклина, русская по происхождению, православная, верующая чуть ли не сама писавшая свои показания, вдруг на суде от этих показаний отказалась, в результате чего к ней придрался прокурор и председатель суда и ее продержали на до-

просе два с половиной часа. Измученная продолжительным допросом и, вероятно, «угрызением совести», что, дав присягу на суде, она стала врать, отказавшись от прежних показаний, и боясь быть осужденной за «ложные показания», она, наконец, не выдержала и тут же, в зале суда, упала в обморок. Ее перенесли в совещательную комнату, откуда, по оказании медицинской помощи, ее снова вызвали и продолжали допрашивать. То же самое чуть было не случилось и с одним из урядников, который заврался в своих обвинительных показаниях до того, что получилось впечатление не только у нас, но и у суда, что при обезоружении его он один едва ли не против тридцати вооруженных людей боролся до последней капли крови, на заданный вопрос одного из заключенных, был ли кто-либо при этом из обезоруживших его хотя бы поцарапан, он настолько смутился, что у него затряслись все мускулы, и председатель суда, поспешив ему на помощь, заявил, что суду свидетель больше не нужен. Защита же была рада придраться к случаю и, заявив, что свидетель ей нужен, просила разрешить продолжать допрос и допрашивала его больше полутора часа, после чего урядник, покачиваясь как пьяный, был отпущен.

На суде частной публики не присутствовало, и если кто-либо из гражданских лиц и был в зале суда, то это были лишь жены и любовницы состава суда, которые разыгрывали роль «человеколюбивых» дам, защитниц наших.

Приближался день приговора, и мы с нетерпением ждали,

по какой части сотой статьи нас будут судить. Первая часть этой статьи, как уже было сказано, трактовала о смертной казни, и, следовательно, если бы суд применил ее, ожидалось, что будет двадцать две смертных казни, около двадцати человек пойдут на каторгу и в ссылку, а остальная часть, возможно, будет освобождена. Если же суд применит вторую часть означенной статьи, то ни смертной казни, ни освобождения несмотря на то, что против семнадцати-двадцати обвиняемых не было ни малейших улик, не будет.

К 20 июня судебное разбирательство кончилось, и суд удалился на совещание. В этот день мы были обставлены шпалерами двух рядов часовых, охрана была усилена также и вокруг здания суда и на улицах, ведущих к тюрьме. После продолжительного совещания суд, наконец, явился и секретарь приступил к оглашению приговора: «По приказу, по указу и тому подобное». Мы с нетерпением ждали, когда чтение приговора дойдет до того места, где должно быть сказано: «Но так как подавление этого восстания не вызвало особо специальных мер...», ибо этими строчками решался вопрос о том, жить ли нам еще на свете или нет. Дождавшись этого «но», мы дальше не слушали приговора и, переходя от скамейки к скамейке, поздравляли друг друга с благополучным для нас окончанием дела и целовались.

Видя такую сцену и поняв, что приговор не производит на нас ожидаемого впечатления, председатель суда от злости побледнел, как полотно, и все время до окончания чте-

ния приговора его скулы дрожали; нервничал и прокурор, который, стоя у своего столика, чертил на бумаге виселицу, но это было уже бесполезно... Чтение приговора кончилось, а мы и не слышали, что четверо из всего процесса оказались оправданными, и на все обращенные к ним предложения председателя суда выйти из среды осужденных, они, чувствуя себя как-то неловко, что только они оказались «святыми», с выходом не торопились. Четвертый из защитников – казенный, от возмущения по поводу такого сурового приговора убежал из зала суда. По объявлении того, что мы имеем право в продолжение 24 часов обжаловать приговор, мы были отведены в тюрьму. Двадцать первого июня нас снова вызвали, и приговор был объявлен в окончательной форме.

В результате этого приговора на всех нас осужденных 65 человек приходилось приблизительно отсидеть

525 лет каторги и свыше 12 пудов железа (кандалов).

Как потом оказалось, при вынесении приговора между председателем и членами суда произошли

крупные трения, так как председатель требовал свыше 20 смертных казней, а члены суда на это не

согласились. Два проекта приговора были разорваны, и в конце концов обе стороны сошлись на

приговоре, по которому мы все были осуждены на каторгу. Определяя каторгу, суд и тут употребил свою

хитрость. Так, например, товарищи, которые в момент совершения преступления не достигли еще

зрелости и которые по роду этих «преступлений» должны были быть поставлены наравне с совершеннолетними и получить, допустим, каторги не выше шести лет, получали девять лет, дабы, имея треть скидки по несовершеннолетию, они остались бы на одинаковом уровне с другими.

Каторга и ссылка

Посвящается комсомольцам и пионерам.

Итак, в результате приговора суда шестьдесят пять человек по нашему делу были приговорены к каторжным работам от четырёх до пятнадцати лет.

Если кто и мог обижаться на приговор суда, то лишь те, в отношении которых в обвинительном акте не фигурировали письменные доказательства, но их было очень немного. Все остальные довольны приговором – если вообще можно так выразиться – приговором палачей, поскольку все участники процесса остались в живых и у каждого была надежда так или иначе ещё быть на свободе и продолжать начатое дело, тем более после реакции 1905 годов и разгрома всех основных подпольных организаций на окраинах России к 1906 году наступило некоторое затишье, давшее возможность организациям, а ЛСДРП(б), установить связь отдельных членов

и групп между собою и с центральным органом.

По объявлении приговора 21 июня 1908 года в окончательной форме нас отвели обратно в тюрьму. В тюрьме первым делом все занялись «письмом», чтобы известить родных и знакомых о полученных наказаниях, успокоить их, а затем уже пошли разговоры и пересуды о том и сём. Смеясь, мы друг другу предлагали поделить общий срок каторги 525 лет между всеми поровну, дабы легче было многосрочным да потяжелее малосрочным. Одни соглашались, а другие отшучивались, особенно те, которые имели по 4—6 лет, что, дескать, нам с вами, долгосрочными, «связываться», мы скоро пойдём на свободу, возьмёмся за дело, тогда и вас освободим, а сидеть всем по 8 с лишним лет, значит, и воли не видать как своих ушей никому. Другие утверждали, что всё же веселей всем вместе, ибо до воли ещё далеко.

Далее толковали о том, что скоро закуют в кандалы, да как это будет в них ходить, куда отправят и прочее, ибо каждый из нас знал, что в губернской тюрьме – в Ревеле – не оставят, а отправят в ту или другую каторжную «централку», так как с каждым днём из других прибалтийских тюрем в Ревель направлялись новые партии заключённых на суд.

В разговорах и пересудах мы коротали время, так как латышские и русские книги здесь отсутствовали, а по-эстонски немногие из нас умели читать. Кормили нас по-старому всякими кашами, изредка супом и так называемыми «сцами» (щами) и салакой – излюбленной пищей эстонцев-бед-

няков (за неимением лучшей).

Серые дни тянулись. Начальство поговаривало о кандалах, а мы, зная, что в тюрьме нет достаточно казённой одежды, заявили, что заковать себя в кандалы не позволим, пока не будет выдана казённая одежда. Надо сказать, что это заявление не просто очередная «волынка», а насущное требование, без исполнения которого невозможно жить, так как при отсутствии казённой одежды, специально приспособленной для кандалов, с боковой застёжкой пуговиц у брюк, нет возможности раздеваться на ночь и утром одеваться. По всей вероятности, понимая всю резонность наших требований, тюремная администрация медлила с заковкой нас в кандалы, но, однако, недолго нам пришлось гулять без кандалов. По тюрьме пронёсся слух, что Николай кровавый приплывает на каком-то крейсере в Ревель, что на Ревельском рейде у него назначено какое-то важное государственное свидание с английским королём Георгом, таким же кровопийцей, и что в связи с этим все осуждённые политические будут немедленно из Ревеля отправлены в российские «централки», дабы, мол, при рапорте губернатора царь-батюшка не освободил заключённых.

Мы, конечно, прекрасно понимали, что ни о каком милостивейшем освобождении речи быть не может, но для правящих кругов этими слухами и возможностями в кавычках необходимо было создать авторитет царю-кровопийцу, что вот он-то хорош, мог бы освободить всех заключённых, но

его чиновники плохие, этих заключённых услали подальше, даже и царю об этом не доложили и тому подобное.

Но прежде, чем перейти к описанию того, что случилось в связи с этими слухами, я остановлюсь на одном эпизоде из нашей тюремной жизни, который мог бы нас привести к нежелательным последствиям. Этот случай, может быть, и не следовало бы описывать, он очень незначительный и, даже неудобоваримый для литературы, но так как при ином исходе он мог быть губительным для всех заключённых в Ревельской губернской тюрьме, то считаю своим долгом на нём остановиться.

При царском строе при пожаре в тюрьме существовал такой порядок, при котором, прежде чем тушить пожар или выпустить заключённых, если пожар начался внутри камеры, требовался вызов усиленного конвоя специальных войск для оцепления тюрьмы, тем более там, где сидят политические заключённые, тем паче политические каторжане, да ещё с таким расчётом, чтобы и тыл этого конвоя был защищён от возможности нападения со стороны «вольных» людей, помимо политических организаций рабочих, стремящихся освободить политзаключённых.

Так как такая процедура оцепления требует значительного времени, связанного с вызовом этих войск, согласованием этих вызовов с соответствующим военным командованием, то понятно, что при подобных процедурах скорее тюрьма сгорит со всеми заключёнными, нежели они будут

выпущены на свободу. Читающий из этой краткой справки может мысленно представить заключённого, находящегося в каменной бетонке, при железных или железом окованных дверях и толстых железных решётках в окнах, при отсутствии какого бы то ни было инструмента, даже простого ножа при себе, в момент такого пожара.

Так вот, мы, заключённые в Ревельской губернской тюрьме, заключённые, осуждённые уже к каторжным работам, и часть следственных, в продолжение нескольких минут и при том ночью находились в таком положении, при котором казалось, что пожар тюрьмы будет неизбежен.

А произошло всё таким образом. Кто-то ночью, покурив, бросил окурочок махорочной сигарки или «козьей ножки» по направлению к дверям, лёг и заснул. Дело было в камере, в которой сидел и я. Немного погодя камера начала наполняться дымом из отверстия отдушины, закрытой мелкой железной решёткой, куда, видно, попал окурочок. Кто-то из товарищей проснулся, разбудил и других – все поняли, что в отдушине годами накопившаяся пыль, а может быть, и мусор, загорелась. Неизвестен размер отдушины, направление её по этажам и другим камерам. Всех охватила тревога. Стучать в дверь и заявить надзирателю значило, даже при отсутствии большего пожара, быть всем беспощадно выпоротыми, лишёнными табаку, передач, при пожаре же ночью – быть сожжёнными, так как согласование оцепления пройдёт до утра. Надо было решать в несколько секунд – как быть. В

камере воды осталось полведра, да в параше несколько мочи – время не ждало, но присутствие дыма могло обратить внимание надзирателя, находящегося в коридоре. Надо было действовать – и мы начали действовать. Чтобы ни одной капли воды и мочи не было пролито мимо отдушины, мы с осторожностью выливали её через решётку, откуда в камеру хлынул целый поток дыму, подождали несколько секунд – хоть дым уменьшился, всё же видно было, что ещё где-то что-то горит. Пришлось пустить свои «пожарные краны» в ход, и так как в камере нас было человек семнадцать, то, видно, эта поливка помогла, и ещё минуты через две дым стал уменьшаться и в конце концов совсем прекратился.

Мы вздохнули с облегчением и улеглись на свои койки, ругая товарища, бросившего окурок. Назавтра, во время прогулки рассказали товарищам, которые вместе с нами вдоволь посмеялись над нашей ночной пожарной тревогой, могущей при иных условиях кончиться для нас печально.

Но вернёмся к существу. Как я уже сказал, по тюрьме прошёл слух о приезде в Ревельские воды Николая кровавого. Этот слух подтвердился через несколько дней, когда нас вызвали вниз в кладовую, где лежала груда кандалов и усиленно, засучив рукава, трудилось трое «заслуженных» и обвешанных медалями надзирателей, заковывая нас в кандалы, кажется, по 40—60 коп. с человека. Видимо, никакие наши замечания на их психику и совесть не действовали, и они, старательно, заклёпывали заклёпки и, в поте лица продолжая

свою работу, выкрикивали: «Следующий!».

Нас, несмотря на наши протесты, заковали поверх нашей одежды, не переодев в казённую, заявляя, что казённой нет и что мы завтра же будем отправлены, одна партия в Москву – Бутырка, а другая в Петроград – на Казачий плац.

Что из себя представляла Бутырка, мы знали по рассказам товарищей, уже имевших удовольствие побывать там. Бутырка – это Московская каторжная централь. Казачьим же плацом как потом выяснилось, называлась Петроградская пересыльная тюрьма, находящаяся на Казачьем плацу.

Итак, мы оказались закованными в кандалы. Кандалы – это железные цепи с широкими толстыми кольцами вокруг ног, весом около 7—8 фунтов, середина цепей с сердцеобразным кольцом закрепляется на ремне, который обвязывается вокруг бёдер, чтобы цепь держалась между ног в всяком положении и можно было ходить.

На следующий день первая партия наших сопроцессников со сроком свыше 10 лет была отправлена в Бутырку, а через день или два отослали и остальных. Я попал среди пересылаемых в Петроград на Казачий плац.

Сама по себе каждая такая отправка радовала даже и при отсутствии сведений о режиме в пересылаемой тюрьме, так как во время этапа (переезда) всегда от конвойной стражи можно было узнать кое-какие новости – в дороге, при всей строгости режима, чувствовалось как-то свободнее и веселее.

Нас отправили большим этапом – подобрали в тюрьме всё то, что было каторжного, чтобы и нашего духу там не осталось.

Этап до Петрограда проследовал без инцидентов и происшествий, но зато путь с вокзала по Обводному каналу до пересыльной тюрьмы не обошёлся без приключений.

После прибытия вечером на вокзал, нас высадили из вагонов, выстроили и под усиленным конвоем с перрона вывели на площадку около вокзала, где весь этап оцепили конвойные городовые; по обеим сторонам тротуара зашмыгали какие-то подозрительные люди, видно, шпики.

По команде «Шашки вон, шагом марш» этап тронулся вдоль Обводного канала. Примерно пройдя так около половины Обводного канала по направлению пересыльной тюрьмы, у одного из замыкающих оцепление этапа городовых затанцевала лошадь, с которой он не в состоянии был справиться, и лошадь боком с задних рядов понеслась по всей линии этапа, вследствие чего получилось замешательство и смятение. Конвой, вместо обычной команды в таких случаях «Ложись», растерялся и, чтобы не упустить кого из заключённых, раздвинул цепь, заняв улицу с одной стороны до тротуара, а с другой до берегового спуска Обводного канала. Я находился в передних рядах, в четвёртом или пятом с левого края; лошадь с городовым неслась на нас; конвою, располагавшемуся около этих рядов, некуда было отступить, лошадь напирала. В переполохе я очутился вне рядов кон-

воя. Казалось, остаётся присесть, и я свободный гражданин, конвой пройдёт, я в своей одежде, шпики у берега нет, я в ночной темноте, как-нибудь можно будет с помощью камня освободиться от кандалов, а там куда глаза глядят. Всё это мелькнуло с быстротой молнии в голове, но, наверное, у дрожащего за свою шкуру конвойного с такой же быстротой мелькнула в голове противоположная мысль, как бы кто не удрал, и не успел я присесть, как уже получил пинка в бок с окриком «Становись на место» и был водворён в свою шеренгу.

Порядок по всему этапу был наведён моментально с помощью конвоя верховых городских, и этап двинулся дальше. У каждого из нас в голове бродила одна мысль: а воля была так близка, если не у всех, то хотя бы части из нас. К двенадцати или к часу ночи этап прибыл в пересыльную тюрьму. Усталые, измученные, мы ждали начала приёмки. Наконец все церемонии и рапорта были закончены и началась обычная перекличка: Сидоров... как звать, имя, отчество, сколько лет, куда идёшь. А куда идёшь, – мы сами не знали, ибо мы не знали, куда везут, и отвечали: «Не знаю».

Группами собирали в шеренгу, затем, когда необходимое количество установилось, раздавалась привычная нам команда «Напраааво, шааагом... арш», гремели кандалы, щёлкали запоры железных решёток, мелькали коридоры и отделения и, наконец, нас ввели в 13-ю камеру; по соседству в 14-й камере разместили остальных наших сопроцессников.

Ужасно томила жажда, и, увидев, что в камере имеется водопровод и умывальный таз, мы бросились пить, не зная, что в Петербурге свирепствуют брюшной тиф и холера, что в городе в день на улицах подбирают от 200 до 300 холерных трупов и прочее (1908 год).

Никто нас не предупреждал, что сырой воды нельзя пить, да кто мог и предупреждать, кто был заинтересован, чтобы мы остались живы? Никто! И за счастье тюремная администрация сочла бы для себя, если бы мы все, как она выражалась, подохли.

Напившись и умывшись, уложились спать, так как разговаривать нам запретили, – завтра и в следующие дни, мол, наговоритесь, время впереди, мол, ещё до смерти далеко.

Много ли немного, но к утру уже около уборной, которая находилась здесь же в камере (своего рода усовершенствование), стояли мы в очередь, поторапливая друг друга, и никакие приказы и угрозы коридорного надзирателя ложиться спать и не стонать не помогли.

Нас всех (23 человека), находящихся в 13-й камере, охватил брюшной тиф и холера, то же самое было слышно и в соседней 14-й камере. На утренней поверке (около шести-полседьмого) заявили дежурному помощнику начальника тюрьмы об этом. Получили ответ, что к 10 часам приедет фельдшер. И так как многие не в состоянии были стоять на ногах, то открыли койки (прикреплённые к стене) и легли. Кори-

дорный надзиратель петухом носился около решётчатой двери, выкрикивая, что без записки врача нельзя лежать, что он отправит в карцер. Карцер – это тюрьма в тюрьме, тёмная, без окон, в виде бетонного кубического гроба, куда сажают за провинности до 30 суток на хлеб и воду, с горячей пищей на третьи сутки и при свете в светлом карцере, на седьмые сутки – в тёмном карцере (светлый карцер – то же самое, только со светом).

Не помогли угрозы карцером, так как ряд товарищей уже находились при смерти. Кстати сказать, все разговоры с администрацией велись через переводчиков, так как только четверо, в том числе и я, из находящихся в нашей камере свободно говорили по-русски.

После поверки снабдили нас хлебом на сутки (около 2 фунтов), кипятком и солью, но нам не до еды было – с нетерпением ждали фельдшера. Наконец, к десяти часам он явился с криком и шумом на весь коридор (отделение). Выслушав переводчиков и не осмотрев даже ни одного больного, он заявил, что пришлёт порошки. На наши доводы, что необходимо немедленно более слабых отвести в больницу, последовал ответ: «Не забудьте, что вы не в богадельне, а на ка-торге», и он ушёл.

К 12 часам подали щи, которые тоже некому было есть, ибо почти все корчились от боли в животах. К вечеру, по настойчивым требованиям, часть из товарищей были направлены в околодок, а к утру следующего дня мы узнали, что

один из больных, товарищ Вреднев, умер от холеры.

Кстати, пару слов о рыжем фельдшере. Как потом выяснилось, рыжий наш фельдшер – вовсе не фельдшер, а босяк-развратник, обитатель пустующих барж на Обводном и других каналах Петербурга, каковых там в царское время было много. Подобранный «благотворительной особой», приласканный ей в качестве домашнего кобеля, по ходатайству последней был назначен в тюрьму фельдшером, так как, по его словам, он изучил это дело и не имеет аттестации лишь потому, что за шалости с женой педагога был выгнан с курсов.

Если такие фельдшера имелись в тюрьме, так не лучше обстояло дело и с врачами: в тюрьму, как увидит читатель впоследствии, шли не врачи, а коновалы.

Недельки две-три, а некоторые и 2—3 месяца, промучились мы с тифом и холериной, однако остались живы. Нужно сказать, что пересыльная тюрьма Питера была чище Ревельской губернской тюрьмы, но зато и порядки тоже были «почище», чем в Ревельской губернской тюрьме, о чём говорилось в правилах о внутреннем распорядке, развешанных в изобилии на стенах. По этим правилам по свистку надо было вставать, застегнуться на все крючки или пуговицы; молиться и ложиться спать; по крику выходить на прогулку, идти гулять и по звонку вернуться. При любом появлении и на каком угодно расстоянии во время прогулки начальства по команде прогулочного надзирателя «Шапки долой» надо было

снимать свои серые картузы – круглые шапки, хранящиеся в количестве штук 40—50 у прогулочного надзирателя, которых, кстати сказать, на руки не выдавали – они предоставлялись лишь при выходе на прогулку. Одни и те же шапки служили для всех камер и корпусов, и их приходилось надевать больному с лишаями на голове и здоровому, по команде «Накройся».

Хотя нужно откровенно сознаться, что не прошедшие ещё огонь, воду и медные трубы, мы в массе своей далеко не были настолько сознательны (этому научились впоследствии), чтобы понимать, как в каком случае держаться по отношению к тюремной администрации, чтобы в отместку за издевательства над нами её терроризировать и причинять ей на каждом шагу неприятности. Всё же нам, руенцам, эти их порядки не нравились, и мы тут же придумали способ и повод, чтобы к этим порядкам придраться.

Начали мы с крючков, пуговиц и молитвы. Порядок, установленный для молитвы, таков: каждое утро после проверки наличия заключённых (не убежал ли кто), когда проверка прошла последнюю камеру, по коридорам протяжно раздавалась команда «Становись на молитву». Во всех камерах все заключённые должны были, так же как и на поверку, становиться за столом в ряд, в две очереди с застёгнутыми на крючки или пуговицы бушлатами (серые казённые пиджаки), во время команды повернуться вполоборота налево, обратить свой взгляд на «святую» икону, торчашую на стене,

и в таком положении простоять, пока не отпоют на одном из коридоров утреннюю молитву. Что, кто и чьи грехи отмаливали и кого там славили – так и не знаю до сих пор, но факт, что такой порядок существовал и что с этим порядком нас, руенцев, хотели заставить считаться, это тоже верно, однако этот номер не прошёл.

Разбуженные на следующее утро после прибытия свистком надзирателя, получили предупреждение, что каждое утро по свистку мы должны вставать, умываться и одеваться до проверки, застегнуться на все пуговицы или крючки, становиться в два ряда по два человека и при команде «Стать смиренно» стоять смиренно, руки по швам, пока не пройдёт проверка, на приветствие отвечать «Здравия желаю, ваше высокоблагородие» и расходиться только тогда, когда будет команда «Разойдись», а затем ждать молитву и что об этом всё подробно написано в правилах, которые мы должны изучить. Мы, говорящие по-русски, всё это с серьёзным видом передали остальным товарищам по-латышски и тут же решили, что так как пока что мы в своей одежде, крючков у нас нет, пуговицы тоже пооторвались, большинство по-русски не понимают, то и застёгиваться не будем, да и на приветствие ответим кто как сумеет – кто просто «Здравствуйте», а кто по-латышски Labriat. Через несколько минут раздалось:

– Становись на поверку!

Встали. Появился дежурный помощник начальника тюрьмы в сопровождении свиты – старшего надзирателя, отде-

ленного и ещё кое-кого, наверное, для охраны.

– Здравствуйте!

Мы в ответ кто как попало.

– Это что такое? Не отвечать. Не застёгнуты на пуговицы. В карцер.

– Позвольте, – говорю, – быть переводчиком, здесь все латыши, из 23 товарищей по-русски говорим только четверо, остальные по-русски не понимают. Это, во-первых, во-вторых, сидя два с половиной года под следствием, пуговиц на пиджаках почти что не осталось, а в-третьих, необходимо переодеть сегодня же в казённое, так как ряду товарищей нет возможности протянуть штаны через кольца кандалов и раздеваться, и приходится спать одетыми.

– А, так, так, – затакал дежурный, – сегодня же переоденем, но отвечать на приветствие надо научиться. Да, кстати, почему не ответили знающие по-русски на приветствие по правилам?

Лоб у начальства начал хмуриться.

Отвечаю, что мы не солдаты и по правилам отвечать не станем.

С угрозой «Посмотрим» начальство пошло дальше.

Раздалась команда стать на молитву, мы не встали.

– Почему на молитву не встаёте? – угрожающе крикнул постовой надзиратель. – Переводчиков сюда.

Мы четверо подошли к дверям с объяснением, что в деревяшки наш народ не верит.

Делать нечего, вызвал старшего, тот явился за ним вслед и один из помощников начальника тюрьмы. Так вы, мол, значит, не православные, ну что ж, устроим, устроим вас. И приказал надзирателю нас не заставлять поворачиваться к святой иконе, но стоять просто смирно. Так же не стали требовать от нас «Здравия желаю», но тут же решили, что обе камеры надо раскассировать и руенцев распределить при первой возможности по другим камерам. Однако это не скоро удалось, и мы, однопроцессники, просидели вместе около двух лет. Через короткое время, видно, позаботилось начальство, к нам заявился душеспаситель-миссионер из лютеран, и нас вызвали к нему. Желающих иметь спасение оказалось немного, да и те, которые пошли, шли с тем, чтобы сказать, что ему здесь делать нечего. Но, видно, пасторская душа не унималась, и миссионер начал заявляться сначала каждую неделю, а затем, когда убедился, что, по всей вероятности, мог наскрести только пару десятков душ для спасения, стал являться только через две недели, а впоследствии в месяц раз. Но зато он, как контролёр наших латышских писем, усердно вычёркивал антинабожное и докладывал тюремной администрации, чтобы та то того, то другого лишала переписки.

Пища была не из важных, и у некоторых в тюрьме к осени 1908 года появилась цинга, кое-кто заболел туберкулезом: помощь из дому была незначительна, так как громадное большинство из нас были сыновья безземельных крестьян,

батраков, уже работающих до ареста самостоятельно в мастерских и на фабриках, и никаких накоплений не имели. Зимой часть товарищей легли в больницу, а к весне их уже не стало. Положение цинготных ухудшалось ещё и тем, что при опухоли ног кандалы стягивали жилы, доктора не особенно торопились с представлением тюремной администрации о расковке, и подчас люди умирали в кандалах.

Правда, к ноябрю месяца, желая малость поправить своё здоровье и получить передачу (продукты) из дому, мы сумели надуть тюремную администрацию, уверив её, что 10 ноября (Мартынов день) у нас большой национальный праздник, что денег наши родные не в состоянии прислать, а лишь продукты. После больших нажимов нам разрешили получить из дому на этот день по маленькой посылке, однако мы сумели информировать так родных, что к этому были получены два дубликата, по одному разных продуктов числилось 44 пуда, по другому масла 5 пудов. Тюремная администрация пришла в бешенство и заявила, что продуктов нам не выдаст, но и тут помогли наши уверения, что мы тут ни при чём, что родные и знакомые не знают порядков тюрьмы и что, по всей вероятности, там на одно лицо числятся разные пакетики от разных лиц, и что продукты всё же выкупить надо.

Продукты выкупили, понятно, за наш же счёт, а раз выкупили, то, конечно, и выдали, хотя должен прибавить, что от конторы до нашей камеры как-то всё «усыхало», но протестовать особенно сильно значило, что неполученное ещё

не выдадут.

Этот материальный багаж на некоторое время поднял не только материально-физическое наше состояние, но и моральное, но всё это было ненадолго, тюремный режим, пища и ежедневные придирки вгоняли в чахотку, и, как я уже сказал, к весне мы недосчитывали многих товарищей. Такие же сведения поступали и из Бутырок: сообщалось, что то тот, то другой умер.

Так как раскассировать в один приём наши две камеры не удалось, то стали переводить по одному, кто из руенцев попадал в больницу и оттуда возвращался живым, того уже к нам не переводили, а переводили в другие камеры. Затем стали распределять на работы внутри тюрьмы по мастерским по специальностям, за исключением кузнечной и слесарной, куда политических не пускали – не наделали бы пил для распиливания решёток и кандалов. Неподчиняющихся направляли в такие мастерские, где плохо оплачивали и где от пыли казённого холста через год-полтора люди заболевали чахоткой и умирали как мухи.

Я был направлен в переплётную мастерскую, как понимающий это ремесло, о чём было известно из моего дела администрации. Нужно сознаться, что особого упорства по этому назначению на работу я не оказывал, зная, что там ближе будешь к книге, да не к какой-нибудь, а к книге и журналу, которых мы или вовсе не получали для чтения, или получали через два-три года после их выхода, дабы крамола не

развивалась в нас. К этому необходимо добавить, что, сидя вместе под следствием и после суда месяцы и годы, мы друг другу так надоели, что стоило только кому-либо открыть рот, чтобы что-нибудь сказать или сострить, когда другой ему напомнил, что это он сказал уже один-два года назад в такой-то тюрьме. Вот эти обстоятельства и привели к тому, что целыми днями мы друг с другом не разговаривали и ходили из угла в угол, как дикие звери в зоологическом саду прохаживают за железными решётками, поэтому какие угодно работы и условия этой работы были необходимы. Мы знали прекрасно, что, работая, мы создаём если не капиталы для правительства, которое нас преследовало, то во всяком случае оправдываем наше содержание, что было неправильно, но, к сожалению, чтобы окончательно не отупеть, приходилось хоть со скрежетом зубов, но на работы идти.

В связи с назначением меня на работы в переплётную был переведён в двадцать третью камеру.

В этой камере находились заключённые из разных губерний, разных национальностей и разных профессий. Прежде всего, в свободное от работы время знакомились друг с другом, расспрашивали, рассказывали о быте и обычаях, о революционном движении 1905—1906 годов в той или другой части царской России, словом, набирали ума-разума и опыта друг от друга. Особенно памятны рассказы товарища Локацкого о расстреле уральских железнодорожников, о жизни в солдатах, Беклеймишева о подражании бытовых картин

в среднероссийской деревне: сватовство с чаепитием, с усиленным дутьём на блюдечко с чаем, прикуской сахара, вывоз невесты по деревне с глашатаем-возницей, что невеста «поспела», вымазывание дёгтем ворот двора невесты, если она оказалась «порченной», или рассказы поляка Деймера о том, как польские ксендзы выматывали душу у женщин и девиц, чтобы иметь удовлетворение своих развращённых чувств и тому подобное. Рассказывали «хохлы», белорусы, кавказцы, литовцы, сибиряки, латыши, эстонцы и финны, рассказывали бывшие солдаты и матросы, рассказывали рабочие – о жизни-бытье своей деревни, невзгодах и издевательствах в армии и во флоте, и каждый такой рассказ имел свои суждения и выводы о темноте деревни, темноте ещё рабочего класса России, тяжестях и препятствиях его обработки, возможностях и способах борьбы и прочее. Всё это вместе накопляло политический багаж и всеобъемлющий опыт, и практику, и недаром впоследствии каторжные тюрьмы шутя называли высшими политическими учебными заведениями Николки II.

Всё то, что говорилось, дискуссировалось и обсуждалось, не припомнишь, поэтому вернёмся к прозе каторжной жизни, к её отдельным моментам.

Попав в переплётную мастерскую и не имея достаточного опыта в переплётном деле, особенно по позолоте корешков книг, первоначально я испытывал трудности, так как уголовный элемент видел в нас конкурентов, да и, кроме того, лю-

дей «пакостящих». А пакости заключались в том, что мы не особенно спешили с продуктивностью труда, а больше стремились извлечь из книги умственную прибыль, да и таскали при первом удобном случае из мастерской в камеру и другим товарищам кое-что почитать, а отсюда, понятно, были строгие обыски, усиления режима и прочее, что не по носу явилось для уголовных, привыкших жить запанибрата с надзирателями. Помимо книг и журналов, иногда в переплётную мастерскую попадала и газета, но это было редкостью, так как книги, посылаемые из магазинов и от частных лиц для переплёта, строго просматривались, газеты, даже в виде обвёртки, забирались. Пытались мы завязать переписку с воли с помощью переплетаемых книг, но это не удавалось. Видно, мы, несмотря на то, что по авторам книг и их содержанию подбирали хозяина-заказчика этих книг, не попадали в точку, и вольнодумные консервативные люди не желали с нами списываться, или прочитанные и переплетаемые книги вновь не перечитывались. Делалось это так: в переплетённой книге или журнале, в наиболее интересном политическом обзоре, романе или рассказе вклеивалась записка примерно следующего содержания: дорогой незнакомый гражданин (гражданка), судя по содержанию книг и журналов, которые вы читаете, вы придерживаетесь сходных таких-то политических взглядов; зная это, мы, политические узники, просим вас при следующих ваших заказах на переплёт книг вкладывать в эти книги вырезки из газет, могущих

интересовать нас, так как таковых мы не имеем, а если вы не боитесь, то и писать нам о том, что творится на воле и прочее. Возможно, что заказчик этих писем не получал, на них не наталкивался, а возможно, не желал иметь с нами связи. Письма, посылаемые таким порядком родным и знакомым, иногда доходили до назначения. Всякие подобного рода «почтовые» отправления сопровождалась запиской, что, конечно, незнакомый нам человек, если он контрреволюционер, если он член союза русского народа и тоже читает книги и журналы с противоположными взглядами, он эти письма и записочки может сдать, направить начальнику тюрьмы, и мы, подписавшиеся, за это будем наказаны карцером или поркой. К счастью, такие сообщения администрации места не имели.

Кстати, несколько слов о переписке с родными, о письмах. Мы, все политические каторжане, в первое время, то есть в срок испытательный, когда носили кандалы, имели разрешение в месяц всего на одно письмо, причём в этих письмах ничего предосудительного писать не разрешалось, а предосудительным называлось всё, в чём излагалось о беспорядках в тюрьме, о плохом питании, о зверском подчас отношении к нам и прочее. Особенно начальство любило, если в письмах почаще вспоминали всевышнего. К нашему счастью, наши сопроцессники этим делом не занимались, поэтому к нашим письмам контролёр, в данном случае тюремный мастер, впоследствии помощник начальника тюрьмы, придирался всё

чаще и чаще. Однако эти придирки к другим последствиям не могли привести, как только лишить на то или иное время того или другого заключённого этого последнего источника связи, этого единственного письма в месяц, которое можно было посылать родным. Поэтому мы искали другие возможности переписки, каковыми являлась связь с соответствующим надзирателем. Приходилось выбирать более или менее человеческого надзирателя, но искушённого пяти- или десятирублёвкой, находить эти деньги тем или другим способом и таким образом, с помощью этого надзирателя, отправить пару писем домой. Редко это удавалось, но всё же удавалось. Из дома письма нам передавали в неограниченном количестве, однако и эти письма подчас приходили на три четверти в замаранном виде, то есть с вычеркнутым текстом на три четверти всего сообщаемого в письме, – это рука контролера действовала вовсю.

Теперь несколько слов о самой переплётной мастерской, о порядках и работающих там людях.

Первое время, когда я туда был переведён для работы, там всего работало шесть человек, из коих двое политических – я и товарищ Горклав, который впоследствии умер, и четверо уголовных. Среди уголовных особенно выделялись два: один из них просидел около семи лет в тюрьме, другой – прибывший лишь на шестьдесят четыре дня. Этот уголовник представлял из себя вора-рецидивиста карманника с парой десятков судимостей. За последнюю поправку, за которую их всего

было осуждено четверо, он был приговорён по совокупности за хищение карманных часов стоимостью два-три рубля, но, имея в виду, что он, Прокофьев, как я уже сказал, судился около двух десятков раз, являлся вором-карманником с малолетства, его и привлекли как рецидивиста. Нужно отдать справедливость, он по переплётному делу и по позолотному был мастер первой руки, и, трудясь в той или другой мастерской в то время на воле, он с лёгкостью мог бы зарабатывать от двадцати пяти до тридцати пяти рублей в месяц. Однако видно было, что его к этому труду не тянет. Отсидевая первый срок, он уверял, что это последняя его судимость, что по выходе из тюрьмы он никогда в неё обратно не вернётся, займётся честным трудом и прочее, но однако, на второй же день, он снова попадал в тюрьму, ждал окончания следствия и снова мечтал о том, что он выйдет, больше воровать не будет и найдёт себе достойное занятие. Второй – старикашка (фамилии его не помню) – обращал на себя внимание тем, что имел на сорок шестом году уже седые волосы и бороду и, не найдя в тюрьме соответствующей косметики для покраски волос и бороды, после каждой бани завязывал голову полотенцем, укрывался в уборной и тщательно красил свои волосы и бороду чернилами. Как-то раз по ошибке вместо чёрных чернил он, видимо, захватил зелёные чернила и, выкрасив волосы и бороду, вылез из уборной – каков же был хохот всех нас остальных, когда увидели нашего старичка с зелёной бородой и зелёными волосами. Вторая его достопри-

мечательность заключалась в том, что он до глубины души ненавидел политических и поэтому на каждом шагу мешал нам работать. Числился он по переплётной мастерской старшим переплётчиком, и поэтому дать тот или другой заказ тому или другому товарищу был поручено тюремной администрацией ему, и он нам с товарищем Горклавом сдавал все худшие заказы. Однако не в худших заказах заключалось дело, а в том, что вместо ткацкой мастерской мы работали в переплётной и имели всё же во время работы возможность прочитывать и перечитывать переплетаемые нами, хотя иногда и старые журналы, которые для нас, сидевших уже около трёх лет в тюрьме, являлись новыми.

Можно ещё отметить, что переплётная мастерская с появлением меня и Горклава уже являлась некоторым центром и связью с остальными камерами хотя бы для нашего отделения (коридора), ибо через неё, то есть через переплётную мастерскую и через нас обоих, можно было иногда с сугубой осторожностью пронести в камеру тот или другой кусок газетного обрезка и передать остальным товарищам то, что мы имели возможность прочитывать. Кроме того, переплётная мастерская позволяла иметь связь через слесарную мастерскую, куда выходили точить свои допотопные инструменты и где можно было с помощью слесарей так или иначе приобрести хотя бы по маленькому, специально изготовленному ножу, в котором так нуждался каждый заключённый в своей камере. Получая эти ножики за известное вознаграж-

дение – продукты, выписанные из тюремной лавочки, мы их передавали тем товарищам, которые в них нуждались. Однако нужно сказать, что и тюремная администрация не дремала производить обыски.

Помню такой случай. Как-то мне удалось от одного из пересыльных (петербургские босяки, проживающие на Обводном и других каналах, но находящиеся иногда от одной до двух недель в пересыльной тюрьме, работающие в качестве обслуживателей мастерских – столярной, слесарной) получить за имеющуюся при мне махорку довольно изящный для заключённого в тюрьме перочинный ножичек, который я принёс в камеру и спрятал в паровом отоплении камеры. Для ясности должен сказать, что паровое отопление в пересыльной тюрьме представляло из себя стоящие колонки. Вот в одну из этих колонок, в расщелину этой колонки, мною и был затиснут со стороны стены этот ножик. На следующий день по выходе всех заключённых на работу после обеда в камере был произведён обыск и ножик этот нашли. Старший тут же опросил дежурного заключённого по камере и, не получив утвердительного ответа на то, чей это ножик, ждал, когда вернутся с работы все мастеровые, заключённые в этой камере, так как уже время окончания работ приближалось. Когда все собрались, торжественно показывая этот ножик, старший потребовал признания – чей это ножик. За признание, конечно, должно было последовать соответствующее наказание. Я, зная, что наша камера достаточно организова-

на для того, чтобы друг друга не выдать, не назвался даже при повторном вызове старшего надзирателя откликнуться, кто собственник этого перочинного ножика. В камере произошло некоторое замешательство, ибо оказалось, что часть из заключённых уголовных, а также некоторая часть называющих себя политическими считала, что из-за этого ножика, который, дескать, никому не нужен, не следует страдать всей камере, так как было ясно, что, если собственник ножика не назовётся, вся камера будет наказана, но наказана более легко, чем собственник этого ножика. Ножик, конечно, нужен был каждому как для починки карандашей, так подчас и обрезки ногтей, и других нужд, даже при починке своей же тюремной одежды – бушлатов и штанов. Видя, что группа заключённых в нашей двадцать третьей камере не хочет считаться с общим положением, и, чтобы эта группа из-за этого перочинного ножика не попала в тюремные провокаторы, я решил назваться и, подойдя к старшему надзирателю, заявил, что ножик мой. Тут перед старшим надзирателем уже встал вопрос не только наказания меня, но, главным образом, каким образом этот ножик получен.

Для читателя, может быть, непонятны эти мелочи, но эти мелочи нам, заключённым, и тюремной администрации представлялись не мелочами, ибо для неё – если можно было получить такие перочинные ножики, то не гарантировано, что тот же надзиратель не принесёт пилку для распиливания решёток.

Поэтому со стороны старшего надзирателя начался самый формальнейший допрос – откуда, каким порядком и так далее получен этот перочинный ножик. Я заявил, что ножик мною получен от какого-то из пересыльных заключённых, которого я встретил при выходе из мастерской. Все дальнейшие расспросы и допросы оказались безрезультатными, и не знаю, почему-то вместо наказания старший только ограничился тем, что доложит помощнику начальника, заведующему мастерскими, на предмет наложения наказания. И здесь нужно добавить, что, когда кого-либо из лучших мастеровых нужно было наказывать, всегда докладывалось помощнику начальника тюрьмы, я же считался одним из лучших переплётчиков. Прошло несколько дней, пока к нам в мастерскую заявился сам помощник начальника тюрьмы, заведующий мастерскими. Подойдя ко мне, он снова начал расспрашивать о перочинном ножике, каким путём я его получил, грозил наказанием и прочее, однако почему-то наказания не последовало.

Вот эти мелочи для вольного человека, тем более человека свободной страны после пройденного десятилетнего советского хозяйственного строительства, не знающего и не испытывавшего прелестей каторжной тюрьмы, покажутся смешными небылицами. Однако это факты, которыми тюремная администрация подчас занималась целыми днями, и вполне понятно, ибо при всей «надёжности» тюремной стражи всё же среди них находились люди, которые или сочувствен-

но относились к политическим заключённым, тем более каторжным, или же, прельщённые деньгами, приносили то, что нам было необходимо.

Пожалуй, небезынтересно будет вкратце описать непосредственную нашу работу в переплётной мастерской, получение и сдачу заказов.

Помимо одного из помощников начальника тюрьмы, который ведал всеми мастерскими, на определённые отрасли работы были выделены надзиратели-мастера. Нужно сказать, что большинство из этих мастеров ни бельмеса не понимали в тех мастерских, в их работе, которыми они ведали. В частности, старший надзиратель Борисов, который ведал, помимо других дел, ещё и переплётным делом, в этой переплётной мастерской ничего не понимал и, будучи большим туберкулезом, нервным, придирался к каждой мелочи и каждому заказу. Заказы получались от отдельных магазинов, помню, главные заказы поступали из петербургских магазинов Попова, остальные же заказы шли от частных лиц, главным образом членов «Русского народа», частенько мы получали заказы на переплёт книг и от члена «Русского народа» Пуришкевича. С чистыми книгами, конечно, работа велась и начисто, но были и такие заказы, присылаемые из больниц, что подчас книги были обрызганы кровью, испачканы мокротой. И всё же тюремная администрация не брезговала принимать эти заказы, отказаться же нам от этих заказов значило бы не получить заказов и других книг, и по-

этому приходилось переплетать то, что нам давалось. Главной радостью для нас было, когда мы получали заказы из магазинов или от частных лиц периодические журналы, как то: «Русское богатство», «Русская мысль», «Исторический вестник», «Нива», «Природа и люди» и прочие. Из этих журналов мы черпали наши познания, из этих журналов мы черпали те или другие новости, то или другое политическое направление, сидя вечерами в камере, среди других заключённых, с удовольствием передавали нами приобретённый умственный багаж.

Так проходили дни, недели, месяцы и годы в пересыльной тюрьме, которая была превращена в каторжную тюрьму. Можно привести ещё пару характерных примеров тюремной жизни для того, чтобы читателю яснее было, как из-за «пустяков» для теперешнего поколения, не имеющего полного понятия о жизни заключённых в царской тюрьме, закрывали целые мастерские.

Около нашей камеры и дальше на коридор тюремная администрация решила устроить мастерскую щёток. Так как для этой мастерской требовался действительно специалист, понимающий это дело, умеющий закупить необходимую щетину и прочее, что не мог выполнить всякий мастер-надзиратель, то был нанят кто-то из вольных специалистов. Под «вольным» мы понимали человека, не носящего казённый царский мундир. Быстро развернулась мастерская, быстро туда были набраны соответствующие заключённые, и работа

закипела. Однако через некоторое время часть из набранных в мастерскую заключённых из волос стали выделять прекраснейшие кольца и часовые цепочки. При обыске у одного из работающих в этой мастерской, нашли запрятанную в подушке, недоделанную часовую цепочку из волос. Немедленно назначили обыск, соответствующий допрос, из которого для тюремной администрации стало ясно, что готовые цепочки сбывали вольной мастерской. Сейчас же мастер был уволен и, по всей вероятности, соответственно наказан, и так как нового мастера не находили, то, проработав ещё недели две-три без мастера, мастерская была закрыта. Вот этот пример ярко характеризует, как тюремная администрация относилась к тем мелочам, о которых я только что говорил.

Каковая же была наша жизнь в Петроградской пересыльной тюрьме в свободное от работы время?

Чтобы не возвращаться ещё раз к переплётной мастерской, необходимо сказать, что мастерская постепенно расширялась и была доведена до тринадцати-пятнадцати человек мастеров, причём напоследок, в 1910—1912 годах, в переплётной превалировал состав каторжан, часть из коих были уголовные. Из тюремщиков уголовных осталось немного, из коих один в предварительной Петербургской тюрьме с одной из политических женщин завёл любовную переписку, добился взаимности и, кончив, должно быть, десятый по счёту срок и будучи освобождён, женился на ней, так как она тоже была освобождена за отсутствием улик. По его словам,

жена его была курсисткой, влюбилась в него, видя его раза два на прогулке в тюремном дворе, и намерена была его исправить и наставить на путь истинный. Родители её были люди состоятельные, и поэтому после их женитьбы она, купив ему инструмент и материалы, помогла открыть в Пскове переплётную мастерскую. Однако проработать в этой мастерской ему удалось лишь полтора месяца. На вопрос «Как же вы снова попали в тюрьму за кражу, имея все возможности заниматься полезным трудом?» он ответил:

– Не удержался.

– То есть как не удержался?

– Да так. Жена собралась ехать в Петербург, я поехал провожать её на вокзал, при мне было около 200 рублей своих денег. Но вот когда я пошёл к кассе покупать жене билет, перед мною стоял какой-то господин, который, получив сдачи с четвертного, все деньги сунул в правый карман, среди которых была десятирублёвка. Ну вот, я не удержался и «купил» (украл) её у него, он трехнулся (спохватился) и задержал меня – вот я и попался.

Таков жизненный финал исправляющей и исправляемого.

Из уголовных каторжан, работающих в переплётной, припоминаются два обратника (бежавшие из Сибири) – Бочаров и Филимонов. Бочаров – длинный сухощавый старик, который каждую весну и осень ложился недели на 2—3 в околодок (небольшая больничка при пересыльной тюрьме) отдыхать, как он сам говорил, обращал на себя внимание тем,

что, будучи большим ревматизмом и рядом других болезней, ежедневно определял погоду на следующий день по тому, где и как ему ломило. Если в ногах и в пояснице – значит, будет сыро, в плечах – значит, дождь и тому подобное, и кроме того тем, что, несмотря на все болезни и недуги, почти всегда был весел, чувствовал себя в тюрьме как дома и любил подшутить над тем или другим заключённым, и просто любил шутить. На вопрос того или другого новичка: «Ну, как там в Сибири? Где и как ты там проживал, расскажи, ведь и нам туда отправляться» он всегда грубовато отшучивался, что жил у медведицы в берлоге. Если кто продолжал расспросы: да как, мол, ты попал к медведице-то в берлогу, то он рассказывал:

– Да, видишь ли, иду я, это, густой тайгой, дело было летом, есть было нечего, стал собирать ягоды и глотать, а в животе от них всё равно не сытно. Присел на пень, чувствую, что до деревни не добраться, сил не хватит, присел и заплакал. Вдруг, мол, слышу, что-то поблизости захрустело, гляжу – медведь самый настоящий, бурый, высунул свою морду из берлоги, смотрит на меня и улыбается – по улыбке-то как будто то не медведь, а медведица. Смотрю, мол, и я на него, гляжу: лапой машет... надо подойти, а то осерчает. Подошёл. Знаками показывает зайти в берлогу – зашёл. Садится и мне велит. Делать нечего, присел. Посидели немного, бац, смотрю, встаёт моя медведица, достаёт меду – угощает. Смотрю, мол, «брюхатая», значит, хозяйка. Ну, понятно, накормила

медом, достала откуда-то мне красную рубашу, рубль денег дала на дорогу и выпроводила, чтобы хозяин не застал.

– Что, мол, врѣшь-то, – спрашивает слушатель, а Бочаров и глазом не моргнёт и ответит:

– Не веришь, съезди в Сибирь в тайгу и проверь.

Филимонов – это вор-церковник, так сказать, спец по церковным кражам, много не любил говорить, но если что скажет, то обязательно половину приврёт. По его словам, он всего на десятки тысяч совершал покраж из церквей. На вопрос, куда же деньги девал и почему при таких богатствах он вот опять как обратник в тюрьме и как вообще он мог попасть на каторгу за церковную кражу, он ретировался или просто прекращал разговор.

Что касается политических заключённых, работающих в переплётной, то, как уже мною было сказано, мы в основном были заняты книгой, то есть тем, чтобы побольше прочитать, и все рассказы и споры как на политические темы, так и бытовые переносили в камеру, после работы. Особенно остры были споры с товарищем Локацковым. Сейчас не помню точно, вокруг чего, главным образом, велись эти споры, но они всегда сопровождались горячностью и раздражением. Спорили о политике, спорили о химии, гальванопластике, об арифметике, тригонометрии, о работе, рабочем, крестьянине и прочем. Всякий по-своему подходил ко всем этим вопросам. Хотя подчас эти споры и дебаты велись впустую, всё же они шевелили мозг, развивали его.

Помню, к нам в двадцать пятую камеру привели обратника фальшивомонетчика, враля первой руки. Сидит себе, придумает что-нибудь и пустит по камере «утку» (враньё о чём-нибудь) или начнёт врать, как он делал фальшивую монету золотую не хуже монетного двора, соврёт о составных веществах – ну, все и набросятся на него.

Или вот ещё тема для спора. Привели в камеру молодого петербургского парнишку – рабочий не рабочий, ученик не ученик, не помню, за что был осуждён, – как заговорит о велосипеде, то всё у него выходило – лисопед да лисопед. Сначала думали, что нарочно так говорит, потом убедились, что парнишка в самом деле думает, что так и следует говорить и писать. Стали смеяться над ним, тот в амбицию – ну, кто рассудит: все говорят «велосипед», он с пеной у рта отстаивает своё «лисопед», да и только, спор, шум, ругань и прочее. Давай ждать библиотекаря, вот, мол, придёт, возьму словарь Павленкова, всем вам нос натру. Дождался, получил словарь, все обступили, смеёмся. Ищет всё на букву «л» – нет да нет. Да, нет в этом словаре, надо, мол, будет достать Ефрон и Брокгауз. Говорим ему: да поищи же на букву «в». Искал, искал, да и нашёл – сконфузился.

Или вот ещё случай спора и разъяснений. Привели осуждённого солдата на двадцать лет каторги. Спрашиваем, за что судился, отвечает:

– Я политический.

Ну, понятно, обступили и давай спрашивать, что да как

на воле, что в казармах творится и так далее, ведь свежий человек кое-что да скажет, чего не знаем. Смотрим, парень пень-пнём.

– А за что же тебя судили?

– Я, мол, рассердился на ефрейтора, что часто сапоги заставлял чистить, за водкой посылая, давал двугривенный и заставлял приносить полбутылки водки, закуски, да ещё папирос и спичек и гривенник сдачи требовал, причём всё приговаривал, что царь-батюшка приказ издал – высший чин слушаться, а так как ты, мол, солдат, а я ефрейтор, значит, и слушаться должен. Я вот и разозлился, и проткнул портрету царя глаза – вот и судили.

Стали понемногу парня обрабатывать, начиная с простых вещей, чтобы прежде всего религиозную дурь вышибить из головы, а затем уже и политике учить. Понемногу парень поддавался, но туго. Учили его грамоте, письму, арифметике, географии, анатомии и прочее. Помню, как дошло дело до того, что Земля вертится вокруг Солнца – парень ни в какую, врёт и баста, ему давно, мол, рассказывали, что Земля держится на четырёх китах, а когда ему объяснили, кто такой кит, да картинку показали, да про кита почитали, задумался парень, значит, говорит, на китах – нужно понимать на столбах. Впоследствии этот же парень, как мы его прозвали, «пень-пнём» был одним из лучших политических. Насчёт ефрейтора при случае любил рассказывать такой анекдот: был я на войне, отбиля вместе с ефрейтором от части,

идём, кругом мороз и вьюга, зги не видать, чуть было не занесло – не замёрзли. Вдруг впереди огонёк, подходим, хата, постучался в окошечко, впустите, мол, добрые люди, а старуха и спрашивает: «Кто вы-то такие, отвечаю: «Я солдатик, да ефрейтор». А старуха нам в ответ: «Солдатик-касатик, ты зайди, небось, озяб, а ефрейтора к жучке привяжи».

Читатель встретит его ещё в шлиссельбургской каторге.

Теперь по истечении более десяти лет после каторги, после того, когда рабочий класс и деревенская беднота в союзе с середняком вырвали власть из рук палачей-капиталистов и строят свою трудовую жизнь, теперь, когда главные трудности позади, когда взялись за лозунг культурной революции, когда слышишь охи и вздохи наших школьников, вузовцев и прочих учащихся, что тяжело грызть гранит науки, невольно задаёшь себе вопрос: а каково было нам в царских застенках и казематах грызть этот гранит науки, подчас без учебников, без системы, без вспомогательных книг, без преподавателей и руководителей. Все грызли, кто как мог и умел, грызли для того, что, может быть, когда-то выйдем из этих казематов, может быть, когда-то приобретённое принесёт пользу пролетариату. Но это «когда-то» для десятков тысяч томящихся там было очень и очень гадательно.

Вечная память погибшим там – их дело стало общим делом всего рабочего класса и крестьянства не только бывшей России, но и всего мира.

Теперь перейдём к тюремной администрации. Начальник

пересыльной тюрьмы, в которой мы находились, был один из тех, про которых говорят: зверем ходит. Фамилию запамятовал, как и запамятовал фамилии всей этой тюремной своры. Пробыл он там начальником бессменно, при мне с 1908 по 1912 год; кажется, он был и до 1908 года, и после 1912-го. Если он не был переведён на высшую должность – в каторжную централь, так только потому, что сам этого не хотел, так как нигде так много нельзя было воровать и безобразничать, как в Петербургской пересыльной тюрьме, особенно с пересыльным – с босяцким элементом. Тем более, что этот босяцкий элемент, попадая для высылки в пересылку полуголый и босой, передевали в такие костюмы, которые через неделю-две рассыпались, по тюремным же книгам они проходили по приличной расценке. Понятно, что воровал не один только начальник, но вкуче все вместе взятые, начиная со старших надзирателей и помощников начальника и кончая тюремной инспекцией и прочими. Обходил он камеры всегда зверем, и ни один обход не кончался так, чтобы не были заполнены пустующие карцеры проштрафившимися, а проштрафиться можно было и тем, что не так вычищены чайники, недостаточно чисты полки, на полу пыль. А как не быть пыли, когда во всех коридорах были мастерские, и если не в коридорах, то в рядом расположенных камерах, откуда пыль носилась из камеры в камеру, так как везде и всюду вместо глухих дверей были двери решётчатые, как в зверинцах.

По пастуху и стадо. За те четыре года, которые я там просидел, помощников начальника побыло там очень много. Особенно памятны трое из них. Первый – толстый, сытый барчук – был прикомандирован для наведения порядка, который он стал внедрять с первого дня, и, нужно сказать к его «чести», ввёл его по всем правилам тюремного искусства.

Порядок этот заключался в том, чтобы заставить всех без исключения и безоговорочно вставать и ложиться по свистку, ходить по-солдатски: смирно, вольно, налево, направо, шагом марш. Отвечать: здравия желаю, ваше и так далее. Правда, туго и со скандалами, карцерами, отправкой в худшие каторжные централки провинившихся (в Орёл и Тулу) и прочее, но всё же ему это удалось. Не помню, почему-то мы все его прозвали коровой, то ли потому, что он бодался с нами, то ли потому, что он часто докрикивался до того, что вместо крика и ругани мычал как корова.

Второй из помощников – титулованный князь – припоминается тем, что, будучи Вашим сиятельством, перед Его Высокоблагородием, начальником тюрьмы, тянулся в струнку и, получив ту или другую нахлобучку, носился по камерам, чтобы вылить свою злобу на нас, но, будучи очень забывчивым, путал фамилии надзирателей с фамилиями заключённых, залетал не по адресу, попадал впросак, постоянно ошибался и был или уволен, или переведён в другую тюрьму. Когда этот князь бывал в хорошем настроении, он затевал разговор с заключёнными, причём эти разговоры, главным об-

разам, сводились к домашним: к отцу, матери, жене, братьям и сёстрам, и не без намерения: он прекрасно знал, что это место для заключённого самое больное, самое уязвимое. Надо было хоть здесь уязвить, причинить боль. Но тут мы умели от него отшиться – стоило только в таких случаях спросить с иронией:

– Скажите, Ваше сиятельство, вы, кажется, кавказский князь?

Как он уже понимал, что мы под этим вопросом мыслим. А мыслили мы то, что он князь без княжества, без тысячных стад баранов и прочее, другими словами, нищий в мундире, приголубленный победителями для того, чтобы с их помощью издеваться над их народом и нами, временно побеждёнными.

Третий – это помощник начальника тюрьмы, заведующий мастерскими, – тип казнокрада, пропойцы, не брезгающий ничем, лишь бы украсть, сделать любую сделку с прибылью для своего и кармана вышестоящих. Несмотря на то, что почти ни одно своё дежурство при проверке тюрьмы он не был трезв, его держали, с ним считались, он не стеснялся, лишь бы оправдать взятый никчёмный и неподходящий заказ, ругнуть, используя неуместную площадную ругань перед любым заключённым, в том числе и последним босяком, себя дураком и свою семью и прочее.

Пониже чином – старшие и младшие надзиратели – равнялись по начальству, выслуживались, десятками лет заковы-

вали в кандалы, сажали в карцеры, били изредка, кто не давал сдачи, в морду, обвешивались медалями в награду, уходили после долголетней службы в отставку с пенсией и прочими заслугами.

Помню одного из молодых надзирателей, который поступил в пересыльную тюрьму с очевидным намерением попасть в старшие. С первых же дней своей карьеры он начал со строгостей, окриками и записками на карцер на непослушных. Скоро его намерения заключённые раскусили, и вся тюрьма вооружилась против него. Было решено изводить при первом случае и возможности, изводить так, чтобы он не мог придаться, чтобы не было улики на предмет наказания, и чтобы в то же самое время можно было то одному, то другому жаловаться на него, что он груб, что по-зверски обращается и тому подобное. Эти жалобы производились ежедневно при его дежурстве, и притом из различных камер. Мы знали, что тюремное начальство не обращает и никогда не обратит внимание на наши жалобы, но нам нужно было создать такую обстановку в глазах начальства по отношению этого мародёра, при которой ему бы перестали верить, он был бы взят под сомнение, чтобы его переводили с одного поста на другой, там снова бы жаловались на него и чтобы, наконец, его уволили, да не с особенно хорошей аттестацией. Словом, чтобы он не мог служить ни на какой государственной службе, а при устройстве на фабрику или завод, был бы взят рабочими в переделку, как служившего тюремным над-

зрителем, как издевавшегося над политическими. Два года мы с ним мучились, два года нянчилась с ним тюремная администрация, переводя с одного поста на другой, и, наконец, дело дошло до того, что этот надзиратель, видя, что он лишается куска хлеба за счёт крови политзаключённых каторжан, в один прекрасный день со слезами на глазах, будучи в столярной мастерской, на Пасху обращается к политкаторжанам со словами:

– Братцы, два года я был с цепи спущенной собакой для вас, два года я вас, и вы меня изводили – простите, больше не буду.

Зная, что из этого бульдога на двух ногах ничего путного и толкового вообще не выйдет, мы ему ответили:

– Если бы имели малейшую возможность, давно бы из твоего мяса сделали бы собакам котлеты, но так как этого не было, подождём ещё годик-другой, если потребуется, но тебе здесь не служить и в старшие не пролезть.

Некоторое время спустя его уволили. Что с ним потом было и преобразился ли он в облик человека – нам неизвестно.

Расскажу ещё пару случаев, характерных примеров – как и какими способами вообще велась борьба не только со стороны политзаключённых, но и уголовных по отношению того произвола, который царил в царской каторге и тюрьме.

Нужно сказать, что большинство надзирателей, как младших, так и старших, являлись людьми далеко не очень грамотными, верующими и суеверными. Учитывая эти обстоя-

тельства, все их атаки, если так можно выразиться, отражались нами и уголовными заключёнными, когда в отдельности, а когда и совместно, с расчётом воздействия на психику.

Вот два примера таких приёмов из десятка, сотни других, проделанных заключёнными в период долгих сроков тюрьмы и каторги.

Как известно, до 1906 года в тюрьме не давался официально табак, то есть за свои же деньги не разрешалось выпить из лавки табаку, а приобретший его тем или другим путём или куривший наказывался карцером. Эта мера наказания всё же не отпугивала отовариваться махоркой от надзирателей не только за деньги, которых, кстати сказать, было мало, но и за продукты, которых можно было купить на четыре рубля двадцать копеек в месяц за собственный счёт, если в тюремной конторе значились по твоему счёту присланные или принесённые кем-либо из родных деньги. Меняли колбасу, масло, сыр и прочее на махорку, которые надзиратель употреблял на свой завтрак, так как выносить он не мог, ибо его сразу в чём-либо подозревали бы.

Так вот, мне рассказали такую штуку. Дело было в Шлиссельбургской каторжной тюрьме (крепости) в 1905 году или в начале 1906 года. По заданиям кузнецов и слесарей, работающих в мастерской, расположенной между первым и вторым корпусом, посредством переписки или тюремного телеграфа (о нём я уже писал в первой части своих воспоминаний) кузнецы передали заключённым, что у них нет ни «ню-

ха» табаку. Те обещали кое-что достать, вынести во время прогулки на двор, где гуляли и те, и другие, зарыть под скамеечку в песок в условленное место, а кузнецы оттуда возьмут. Так как кузнецов и слесарей всегда на прогулку и после прогулки тщательно обыскивали – не принесут ли на прогулку пилку для распиливания решёток, ножик или что-либо другое, не разрешённое и опасное, то они должны были придумать способ, как пронести махорку. Обыкновенно махорка набивалась в сшитую в виде кишки тряпочку с таким расчётом, чтобы по толщине она подменяла веревочку, которой в поясе подвязывались кальсоны. Так как заключённые из первого корпуса сообщили, что они могут достать и вынесут восьмушку-две махорки, то этот способ не годился, и кузнецы-слесаря придумали другой способ, попросив первый корпус поторопиться с выноской махорки. Один из них выходил на прогулку с непокрытой годовой, свой картуз (шапку из серого шинельного сукна, похожую по форме на шапки железнодорожников в старое время, вроде круглой плоскодонной чашки) брал между пальцами за середину, зажимал и размахивая подходил к обыскивающему надзирателю с тем расчётом, что надзиратель, посмотрев раз-другой, потом через два-три дня, убедившись, что этот заключённый ходит по привычке так, перестанет эту шапку обыскивать. Так и получилось, на третьи сутки надзиратель в шапку уже не заглядывал. Убедившись, что надзирателя поймали, сигнализировали первому корпусу забрать и спрятать махорку,

чтобы на следующий день принести её в мастерскую. На четвёртый день выход кузнецов и слесарей на прогулку прошёл благополучно, в шапку надзиратель не заглядывал, по окончании прогулки в шапку был положен табак, но увы! При обыске надзиратель по инерции, должно быть, заглянул и в шапку, отобрал табак и шапку и написал через старшего надзирателя дежурному помощнику записку на предмет наказания. Записка была сдана, и провинившийся ждал наказания. Карцера никто не боялся, но всем было жаль отобранной махорки, спрятанной вместе с шапкой в шкафчике надзирателя около дверей в мастерскую. У начальника тюрьмы был такой обычай, особенно по отношению уголовных, по докладу того или иного надзирателя наказывать лишь того, кто попался с поличным, то есть с вещественными доказательствами. Перед кузнецами и слесарями стала задача не только изъять из шкафчика это «поличное», но и иметь курево – махорку. Способ моментально был придуман. Так как ключ от шкафчика висел там же рядом, то надо было воспользоваться первым зевком надзирателя, спереть (утащить) на секунду-другую ключ, снять слепку, сделать ключ, а тем временем подумать, как отвести надзирателя от дверей не на пару-другую секунд, а пару-другую минут, чтобы взять из шкафчика табак и шапку и снова незаметно запереть, то есть уничтожить вещественные доказательства. Решено и в тот же день было сделано – ключ к следующему утру был готов. Нужно сказать, что часть кузнецов работало на дворе и, следовательно,

то выходили, то заходили в самую кузницу – мастерскую. На следующее утро, план действия был намечен. Только что начали трудиться, как один из работающих на дворе, приложив ладонь руки ко лбу и глядя вверх, крикнул:

– Ребята, шар, шар! Шар!

Почти все мастеровые высыпали гурьбой на двор с возгласами: «Где? Где?». А тот, показывая другой рукой в воздух, отвечал:

– Гляди, гляди, вон, вон, какой большой.

Заражённый любопытством, поплёлся и надзиратель от дверей. В этот момент оставшиеся в мастерской вынули табак и шапку, заперли снова шкафчик и как ни в чём не бывало продолжали работу. Надзиратель так шара и не видел, но зато он узрел входившего в ворота старшего, который крикнул:

– Ну, бери табак и шапку и захвати и Иванова с собой с хлебом.

С хлебом – это значило, что Иванов не вернётся, а пойдёт в карцер. Надзиратель всунул ключ и отпер шкаф. Каково же было его удивление, когда там поличного не оказалось. Взглянув, остолбенело на шкаф, потом на старшего надзирателя, он не знал, что делать, так как понимал, что теперь ему самому попадёт, хорошо, если отделается штрафом, а то запишут в личное дело выговор и пропадёт вся карьера службы. А старший надзиратель тем временем надрывался:

– Олух, растяпа, ротозей, – сопровождая каждое слово ма-

терщиной, – шар, шар, вот тебя и обшарили, ротозей.

Как надзиратели между собой потом покончили – это неизвестно, но Иванов в карцер не был взят, да и табак у мастеровых остался.

Второй случай, имевший место в Петербургских Крестах (срочная тюрьма, построенная крестообразно на Васильевском острове). Неработающие уголовные оставались в камерах по четыре-пять человек, в одной из таких камер постоянно играли в карты, некто из старших надзирателей по утрам, около десяти-одиннадцати часов, делал свой обход. Хотя заключённые, слышавшие приближение к их камере, прятали карты и притворялись, что они читают книги, но старший чутьём угадывал, что они играли, и часто грозил: «Поймаю с поличным». Так как вообще этот старший надзиратель ко всем, в том числе и к политическим этой тюрьмы, относился скверно и обыскивая раздевал догола, да подучивал и надзирательниц поступать так же с женщинами-заключёнными, то уголовники решили его «известить».

Придумав план действия, опять же рассчитанный на психику, они начали ежедневно при дежурстве этого старшего дразнить его игрой, пустив предварительно слух по всей тюрьме про одного из уголовных, Филимонова, что он колдун и прочие небылицы, с таким расчётом, чтобы о его колдовстве заговорили младшие и старшие надзиратели. Рассказывали о колдовстве Филимонова кто во что горазд, лишь бы раздуть кадило, лишь бы у жертвы, жертвы суеверной, в

этом направлении заработал мозг.

Жертва, старший надзиратель, подходила к камере Филимонова, расспрашивая его о его познаниях в колдовстве и прочее, а Филимонов, не смущаясь, заливал и заливал (врал что попало и как попало). В один из таких разговоров со старшим Филимонов заявил:

– Да что ты думаешь, что-нибудь удержит меня в тюрьме, если я не захочу? Я знаю такое петушиное слово – фук и нету! – И продолжал: – Только не хочу я бежать, там, за решёткой, работать надо, а здесь кормят, одевают, обувают – что мне больше нужно?

Старший слушал, отшучивался и грозил:

– А я всё-таки тебя, колдуна, с картами поймаю и в карцер посажу. Посмотрим, как ты оттуда своим петушиным словом и фуканьем выйдешь. – И уходил.

Отсюда следовало, что старший решил подкрасться к этой камере и поймать играющих с поличным, к чему те уже давно приготoвились.

В камере этой было двадцать две – двадцать три койки по обеим сторонам, посередине камеры столы почти что от дверей и до окон. Игра происходила в конце стола у окна, на скамеечке.

Всё было рассчитано как надо, в момент дежурства жертвы и его обхода он уже издалека услышал слова «По банку» и потому, вызвав резерв надзирателей для обыска, на цыпочках подкрался к решётчатой двери, моментально её отпер и

с возгласом «Встать смирно!» бросился к играющим. Около дверей у стола один из заключённых читал книгу. После «Встать смирно» все встали, старший собственными глазами видел, что у одного из играющих при его появлении в камеру в руках были карты, обыскали – карт не нашлось. Раздели, обыскали ещё раз, осмотрели скамейку и конец стола, нет ли там потайника, – ничего не нашли. А сам он видел, что карты были, сам видел, что играющие с места не сдвинулись, видели это и два-три младших надзирателя, участвующих в обыске, а карт всё же не было. Старший, ошеломлённый этим, как бы не веря себе, спрашивал:

– Были карты?

– Были.

– Играли? Да куда же вы, такие-сякие, их дели?

– Да наше дело прятать, а ваше – искать, – отвечали играющие.

А Филимонов улыбался и приговаривал:

– Да всё это моё петушиное слово – фук и нету, вот ты не верил – теперь убедился, что я не только фокусник, но и колдун, что захочу, то и сделаю. – И видя по лицу старшего, что у того уже в мозгу заработали суеверные жилочки и нити, ковал железо пока горячо. – Не веришь ещё. Прикажи дать нож, чем хлеб режут (почти что железный), и я тебе ещё покажу колдовство.

Полюбопытствовали – принесли. Наклеив слюной на каждой стороне лезвия ножа по три кусочка бумаги, Филимонов

с ловкостью фокусника то вертел этот нож над своей головой, то, поднося его к глазам старшего и других обыскивающих, приговаривал:

– Тут три и там три. – А потом, сняв по одной с каждой стороны: – Тут два и там два, – пока не снял и последние прилепки, приговаривая: – Тут нет и там нет. – Вдруг преподнёс к глазам старшего: – Тут три и там три. Тут ничего и там ничего.

Эти люди в казённых мундирах смотрели, вытаращив глаза, не верили своим глазам, что это так. И это вполне понятно, ибо многие из них сами рассказывали, что до шестнадцати-семнадцати лет не знали, что такое керосин и лампа, думали, что макароны на деревьях растут, а после службы в солдатах всю жизнь проводили в тюрьме надзирателями.

Как бы то ни было, больше всех был озадачен старший, который привык к тому мнению о себе, что он всякую пакость арестанта наперёд чутьём узнаёт. Переспросив ещё раз, были ли карты и играли ли, и получив утвердительный ответ, он со своей свитой ушёл, понуриив голову. А с этого дня ещё больше пустили слух о колдовстве Филимонова, о том, как он со своим «фук и нет» оставил в дураках старшего, смеялись над ним в его присутствии и его отсутствии при надзирателях, а бедный служака ходил изо дня в день понуриив голову и думал: а вдруг да Филимонов или кто другой рассердится на него за все его издевательства над ними, вдруг да учинят ему пакость – куда идти, что делать, до 25 лет не

дослужив, медалей и крестов мало, семья большая...

Несколько недель спустя этот же старший совершал опять свой утренний рейс – обход. День был праздничный, и все мастеровые были в камере. Подойдя к камере, где находился Филимонов, увидел, что тот продельывает какие-то фокусы с картами под шум и смех всех присутствующих, и, отперев незаметно дверь, бросился к Филимонову, с злостной радостью воскликнув:

– Наконец-то ты, колдун, мне попался, теперь уже не наколдуешь, – и схватил Филимонова за руку.

Карты остались в руке у Филимонова, карты были венские – глазурные, маленького размера. Филимонов выдернул руку, переложил карты в другую руку, приговаривая:

– Вишь – фук и нету.

Старший схватил его за левую руку, тот выдернул и переложил их в правую с теми же словами. Старший хватал то за одну, то за другую руку, Филимонов выдёргивал и, размахивая руками через голову, перекладывал карты в другую руку. Так продолжалось несколько секунд, и старший, рассердившись, крикнул:

– Отдай карты.

В это время Филимонов, поднося обе зажатые в кулак руки старшему, снова повторил:

– Фук и нету, – и открыл оба кулака.

Карт не было, и старший надзиратель смотрел как ошарашенный, не мог выговорить ни одного слова. Кругом раздал-

ся гомерический хохот, а Филимонов продолжал:

– Сказал я тебе не раз и не два, что я колдун, собственным глазам не веришь – дам тебе почувствовать.

Под общий гул смеха старший удалился и через некоторое время подал в отставку.

В чём же тут дело, спросит читатель, в чём же тут фокус? Фокуса тут никакого нет и не было, вся суть в первом случае в плане и в расчёте на психологию, во втором в ловкости рук и психологии, а в третьем в ловкости рук, психологии безвыходного положения и расчёте на помощь товарищей.

В первом случае план заключался в том, чтобы изготовить чёрный мешочек с чёрной ниткой для того заключённого, который должен сидеть около другого конца столов – у дверей, приучить старшего и других к тому, что тот, который сидит около стола у дверей, участия в игре не принимает и читает книгу, чтобы создать такое положение, при котором даже у старшего и могущих присутствовать никакого бы намёка в мозгу не было, что между играющими в одном конце стола и сидящим и читающим (на расстоянии около четырёх-пяти саженей) в другом конце могла бы быть какая бы то ни было связь. Мешочек и нитка были чёрные для того, чтобы, когда ворвётся в дверь старший и несколько человек с ним, когда их взгляды будут устремлены исключительно на играющих, в эту секунду положить карты, которыми фактически не играли, в мешочек и опустить незаметно на асфальтный, чёрным воском натёртый пол, и, пока все взоры

будут обращены на играющих, в это время сидящий, читающий у дверей по полу ниточкой подтянет мешочек с картами к себе, припрячет в карман, да и только. Если расчёт правильный и удастся, его обыскивать не будут – значит, в суеверной башке старшего создадут сумбур. Так и случилось.

А чтобы мысли старшего не просветлели, тут же проделали фокус с ножом, с которого Филимонов снимал бумажки лишь с одной стороны и ловким поворотом руки и прочими действиями показывал фактически одну сторону лезвия ножа, и лишь тогда, когда снял с одной стороны все бумажки, стал демонстрировать: тут нет и тут нет, а затем, повернув другую сторону, предъявил: тут три и тут три, и под конец, сняв незаметно последние три, отдал нож.

В третьем случае Филимонов попал впросак: его застиг старший с поличным, и надеясь, что он карты спрячет, он просто перекладывал их из одной руки в другую, придумывал план действия, хватаясь в данном случае как утопающий за соломинку, что ему и удалось. Создав такое положение, при котором старший был занят его руками, разжиманием той руки, где по его предположениям должны были быть карты, Филимонов, размахивая руками через голову, воспользовался этим моментом и положил себе колоду карт на голову, а пока старший после окрика «Отдай карты» смотрел на протянутые к нему зажатые кулаки, будучи убеждён, что там карты, один из находящихся в камере сзади потихоньку снял с головы Филимонова карты, унёс и спрятал их под

общий хохот остальных, когда перед старшим оказались пустые руки.

Для чего всё это я пишу?

Да просто потому, что эти отдельные моменты борьбы заключённого, хотя бы и уголовного преступника, против существующего тогда порядка наказания и методов исправления: мордобитием, карцерами, поркой и прочими прелестями – могут послужить некоторым освещением жизни тюрьмы и каторги в те годы.

Как читатель увидит впоследствии, подобного рода методами борьбы пользовались и политические.

Так шли месяцы и годы. С одной стороны притеснения, с другой – отпор теми средствами и возможностями, которые были в нашем распоряжении.

Однако, прежде чем распроститься с Петроградской пересыльной тюрьмой, остановлюсь ещё на двух моментах.

Первое – то, что, узнав, что часть членов одиннадцатой Государственной думы, эсдеков и эсеров, осуждены на каторгу, мы ждали их прибытия, так они должны были пройти через пересыльную тюрьму. Ожидая их, мы смотрели на них как на вождей, которые нам помогут, научат побороть произвол тюремной администрации над нами. Когда же они прибыли и их поместили в девятнадцатую камеру на нашем коридоре, то в первое же утро при утренней поверке большинство из них, должно быть, прочитав инструкции, висящие на стенах камер, на приветствие дежурного помощника

ответили: «Здравия желаем, ваше благородие», то есть исполнили то, что требовала администрация и против чего мы долго боролись, не подчиняясь и отклоняясь всякими путями.

Второй момент – это политзаключённый товарищ Рысь.

Товарищ Рысь принадлежал к группе максималистов и, кажется, был осуждён как участник экспроприации Вакка на Фонарном переулке в Петрограде. От других товарищей он отличался невероятной живостью, перебрасыванием с одного вопроса на другой и чрезвычайной нервностью. Он любил шутить и баловаться, особенно вечером, после вечерней проверки скатывал из хлеба шарики и кидаться ими в товарищей, но не терпел, когда в него кидали, особенно после того, когда он сказал: «Довольно».

Не нравилось ему и отвечать перед надзирателями за эти проделки. Иногда доходило до того, что после его «Довольно», если кто-либо кидал в него шариком, он отвечал «котом» (тюремные ботинки, не знаю почему прозванные котами). Сосед или противоположный товарищ отвечал тем же, после чего товарищ Рысь успокаивался бромом и пролёживал два-три дня подряд в углу камеры на скамеечке.

Вторая его отличительная черта была та, что он был вегетарианец и выдержал большую борьбу с администрацией, отказавшись от тюремной пищи, пока ему не разрешили получать за свои деньги из лавочки овощи и прочее вегетарианское. Несмотря на то, что он был вегетарианцем, он поче-

му-то любил рассказывать про якобы застрявший поезд в поле снегу, про то, как поезду не могла быть оказана помощь, и про то, что дело дошло до того, что люди людей ели. Мы над ним не только смеялись, но форменно издевались. Какой, мол, ты революционер, раз ты придерживаешься лозунга «Я никого не ем». Он отстаивал, доказывал свою правоту, что революционер может быть и вегетарианцем и прекрасно расстреливать классовых врагов и, что, хотя он вышел из богатой семьи, он не постесняется посражаться с оружием в руках и со своим отцом. Словом, на эту тему у нас были горячие споры. Рысь со многими поспорил и стал поговаривать, что он в нашей камере жить не может и что надо ему переходить в другую. Почему-то он на мои насмешки не особенно обижался, и мы с ним жили довольно дружно. Он не употреблял и сахару, дескать, сквозь кости прогнан. Как-то раз снова его взяли в работу за его вегетарианство, доспорились до того, что его приперли к стенке, нечем ему было отбрыкиваться, и я ещё спросил его:

– Раз ты ничего не ешь того, в чём жизнь была, могла быть, яйцо, или имеется, то почему же ты носишь «коты», ведь они из кожи сшиты, а кожа, кажись, с овцы, с телёнка, быка, коровы.

Этого было достаточно, чтобы товарищ Рысь тут же постучался в решётку и заявил, что с нами жить не может, и чтобы его немедленно перевели в другую камеру. Кажется, его перевели на второй день. Я с ним встретился потом ещё

в Шлиссельбургской крепости, но мы не успели как следует поздороваться, как перестали быть знакомыми.

Я успел только его спросить, его ли брат или однофамилец тот Рысь, который оказался провокатором.

Больше мы с ним не общались, скоро его куда-то отправили.

К апрелю 1912 года стали поговаривать о каких-то надстройках этажей в пересыльной тюрьме и о том, что всех нас, каторжан, переведут в Шлиссельбургскую крепость. Так и случилось. Из-за отсутствия мест царская власть вместо школ и больниц строила и надстраивала тюрьмы. В пересылке предполагалось надстроить два этажа, вот почему и ждали ледохода на Неве, чтобы доставить нас до Шлиссельбурга, переправить на пароходе в крепость. В середине апреля нас туда и доставили.

Прибыв в Шлиссельбург на поезде, мы направились к пристани, где уже нас ждал катер с прицепленной к нему баржей. Всех посадили на баржу, и мы тронулись по направлению к виднеющейся Шлиссельбургской крепости. Мы были одеты в летнее арестантское обмундирование. Весенний холод охватывал всех нас, и мы с дрожью прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Так как расстояние было короткое, то мы быстро доплыли до пристани крепости.

Шлиссельбург – этот уездный город (бывший Орешек) по расположению своему при истоке Невы из Ладожского озера – представлял в прежние времена важный в торговом и во-

енном отношении пункт, служивший постоянным предметом раздора между русскими и шведами.

В 1323 году великий князь Георгий Данилович заложил в стане Зарецком, на острове Орехове, крепость, названную им Ореховым или Орешком. Шведы немало были встревожены этим и, воспользовавшись борьбой новгородцев с Иваном Калитой, успели обманом захватить вновь построенную крепость, которая, однако, уже в начале 1349 года была отнята у них новгородцами. Последние заменили деревянные стены каменными. В 1555 году Орешек был в середине сентября осаждён шведскими войсками. После трёхнедельной осады шведы предприняли штурм, но были отбиты. За это время Орешек вёл значительную торговлю, из грамоты 1563 года видно, что сюда съезжались торговые люди из Новгорода, Твери, Москвы, Рязани, Смоленска, Пскова, из Литвы, Ливонии и Швеции. В 1582 году Орешек подвергся новой осаде со стороны шведов, во главе которых стоял знаменитый полководец Делагарди. Когда часть крепостной стены была взорвана, они пошли на приступ, но были отражены. В 1611 году шведам после двух отбитых приступов удалось взять Орешек обманом. В 1655 году воеводы царя Алексея Михайловича снова овладели крепостью, но по Кардисскому договору 1661 года она была возвращена шведам, которые переименовали её в Нотебург.

Петр I, приступив к завоеванию ижорской земли, первоначально (зимой 1701—1702 годов) предполагал атаковать

крепость по льду, но этому помешали наступившие оттепели. Летом 1702 года в г. Ладоге устроен был провиантский магазин, собрана осадная артиллерия и инженерный парк, организована транспортная служба водою и сухим путём от Новгорода к Ладоге и Нотебургу, приняты меры к отвлечению внимания шведов в сторону Польши и Лифляндии оживлением деятельности Августа II и войск Шереметева, изготовлена флотилия для действия против шведов на Ладожском озере и Неве, на реке Назии собран был отряд войск силою до шестнадцати с половиной тысяч. В конце сентября начаты были осадные работы против юго-западной части крепости, а для полного обложения её приняты следующие меры: из Ладожского озера отправлено волоком 50 лодок, которые поставлены на Неве ниже Нотебурга, особый отряд (одна тысяча) переправлен на правый берег и, овладев находившимся там укреплением, прервал сообщения крепости с Ниеншанцем, Выборгом и Кексгольмом, флотилия блокировала её со стороны Ладожского озера, устроена связь между обоими берегами Невы. С первого по одиннадцатое октября производилось бомбардирование и бреширование крепости. Команды охотников, снабжённые штурмовыми лестницами, были девятого октября распределены по судам, а одиннадцатого предпринят штурм. Хотя обвалы оказались неудобовосходимыми, лестницы короткими, огонь противника недостаточно ослабленным, но после нескольких отбитых приступов крепость сдалась, благодаря введению в дело лучших войск

(гвардия) и личному примеру начальников штурмовых колонн, князей Голицына и Карпова. Нотебург переименован в Шлиссельбург, и укрепления его были восстановлены.

О взятии Нотебурга, или Орешка, как продолжали его называть русские, Петр I писал: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен». После этого важное стратегическое значение Шлиссельбург имел только в ближайшие годы Северной войны, при овладении Невой (1703 год) он играл роль передовой базы, затем до 1710 года обеспечивал правый фланг невской линии, а во время осады Кексгольма (1710 год) служил базой для отряда Брюса. По взятии Кексгольма и Выборга и с постройкой укреплений Петербурга и Кронштадта значение Шлиссельбурга как крепости пало. При Александре I укрепления Шлиссельбурга были переделаны и крепость была окончательно упразднена.

Местом заключения Шлиссельбургская крепость служит издавна, в ней, между прочим, был заточён (1756—1764 годы) и убит Иоанн VI Антонович. В государственную тюрьму крепость обращена в 1882 году, и в неё никто из посторонних до 1917 года без разрешения не допускался. Сооружения её – непрерывная каменная ограда, усиленная башнями, – находились в распоряжении министерства внутренних дел.

Такова вкратце история Шлиссельбургской крепости, в которой с превращением её в государственную тюрьму-крепость погибли не один десяток и не одна сотня лучших пе-

редовых людей в борьбе за будущее, в борьбе за социализм. И если по словам Петра I: «Зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен», то и пролетариатом России в союзе с бедняком и середняком без помощи бога этот орех, превратившийся в «могущественный трон» страны жандармов и капиталистов, страны издевательства над рабочим классом и крестьянством, также счастливо разгрызен, его остатки разрушены, и ныне пролетариат в лице Советов под могучим руководством компартии строил свою трудовую жизнь и социализм.

Уже по мере приближения к пристани на нас всех крепость производила удручающее впечатление, ибо находящиеся там корпуса каторжных тюрем почти не виднелись из-за высокой, вышиной двухэтажного здания, каменной стены, по которой ходили часовые вперёд и назад. Стена эта сероватого цвета была покрыта плесенью и инеем, образовавшимся на стене благодаря весенней оттепели. Пригревающее солнце, хотя был ветер, всё же выжимало зимний мороз из этой стены.

После высадки на берег, нас построили в четыре шеренги и под командой «Шашки вон, шагом марш» направили к крепостным воротам. Над воротами висел большой двуглавый орел, а у самых ворот изрядной ширины и высоты была открыта маленькая дверца, в которую, пригнувшись, можно было проходить лишь по одному; самая эта дверца была вдоль и поперёк окована громаднейшими железными план-

ками размером в диаметре до одного до полутора вершка.

Пройдя в одну эту маленькую щель, мы очутились в тёмном коридоре, впереди которого виднелся свет. Двигаясь, мы оказались у других ворот – сплошной решётки. Около этих ворот мы снова были выстроены по четыре в ряд, пока не был оформлен пропуск в первый двор. По оформлении пропуска нас ввели на широкий двор, причём впереди нас виднелись двери конторы тюрьмы, а позади её находился четырёхэтажный корпус для заключённых, налево от конторы строения – знающие объясняли, что это здания тюремной высшей администрации, а позади их находилась постройка, занимаемая тюремными надзирателями. Налево от них, где-то вдалеке за новой каменной стеной виднелся третий корпус – тот самый корпус, в котором когда-то томились Морозов, Вера Фигнер и другие, затем дальше водоразборная башня, налево от которой были снова стены и двухэтажный второй корпус, ещё левее, ближе к нам – окрашенный в белый цвет первый корпус и больница.

Будучи выстроенными в ряд по четыре, мы чего-то ждали. Конвойная команда во главе с начальником команды, молодым офицером, с нетерпением поглядывала на контору. Двери её распахнулись и появился среднего роста толстый карапуз, который своим взглядом старался пронизывать каждого из нас и, обращаясь не то к конвойным, не то к начальнику конвоя, сказал:

– А, привезли!

И получив ответ: «Так точно, ваше высокоблагородие», обратился с короткой приветственной речью к нам. Приветствие это вкратце заключалось в следующем:

– Вы знаете, куда вас привезли? Вы не вздумайте здесь бунтовать, волынить. Здесь не крепость, а Шлиссельбургская каторжная тюрьма! Здесь, кроме невских волн, никто ваших жалоб и стонов не услышит.

И кончив свою речь, обратился к начальнику конвоя:

– Ведите!

Звякнули ключи, защёлкали впереди нас затворы и засовы... Под командой «Шагом марш» мы прошли ворота и очутились на дворе четвёртого корпуса. Проведя через двор, нас повели на второй этаж. Начались обыск и приёмка.

Нужно сказать, что я уже начиная с 20 декабря 1905 года, по прибытии в Шлиссельбург по истечении семи лет нахождения в Валкской тюрьме, двух тюрьмах в Пскове, в Вольмаре, двух тюрьмах в Риге, двух тюрьмах в Ревеле и пересылке, несмотря на все строгости и безобразное отношение, особенно в Рижской пересыльной тюрьме, к нам, политическим заключённым, такого обыска ещё не видел. Выстроенных на коридоре в очередь нас группами вызывали в одну из камер, раздели наголо, забрали имеющиеся у нас продукты: чай, сахар и так далее – и обыскивали не только нашу одежду, но и самих нас нагих, ковырялись во рту, в носу, заглядывали в задний проход и прочее и тут же грязными руками обыскивали сахар и чай. Наши протесты на такое безобразное от-

ношение к нам ни к чему не привели, тем более, если иметь в виду вышеприведённую приветственную речь начальника тюрьмы и тон, заданный тюремной администрацией.

Из этой камеры таких же голых и босых по асфальтному полу нас переводили в другую, где выдавали рубашку и кальсоны, оттуда в третью, где выдавали верхнюю одежду, и, наконец, в четвёртую, где выдавали так называемые «коты». Всё то, во что нас переодели, представляло из себя одно ободранное грязное тряпье. На наши протесты и требования дать сносное обмундирование последовал ответ: «Поживёте, посмотрим, как вы себя ведёте, и тогда оденем поприличнее». Вообще, всё то, что говорилось, всё то, что отвечалось, сопровождалось грубостями, насмешками и издевательством.

После одевания группами направляли в соответствующие камеры, если не ошибаюсь, то я попал в седьмую или восьмую камеру. Здесь я встретил многих знакомых, с которыми сидел во время предварительного следствия в Риге, Ревеле и которые уже были переведены сюда, выходили на двор на бесплатные работы. Переговорив о том о сём и осведомившись о режиме в крепости, я узнал, что в четвёртом корпусе, то есть в корпусе, в котором нас предварительно разместили, существует режим более лёгкий, чем в других корпусах, более строгий в первом корпусе, затем во втором, а в третьем корпусе уже помещают людей, с которыми тюремная администрация не справлялась или не справляется, или

вообще по каким-либо причинам не имеет возможности с ними грубо обращаться (прежнее положение, связи с правительственными кругами или близкое отношение родственников в высших кругах). На вопрос, как отвечать на приветствие, товарищи объяснили, что у тюремной администрации есть все стремления привести всех заключённых в военный вид, чтобы обращаться с ними на «ты», чтобы они на приветствия отвечали по-собачьи «Здравия желаю» и прочее, но что администрации это туго даётся, часть из заключённых даже общих камер и данной камеры, в которую я попал, отвечает требованиям администрации тюрьмы, а остальная же часть не отвечает. И так как карцеры постоянно наполнены виновниками более крупных проступков и остальные корпуса с более строгим режимом также переполнены, то принимаемые меры привести заключённых в полное безоговорочное подчинение не могут.

На следующий день это очень ярко было видно на утренней проверке, когда дежурный помощник вместо обычного «Здорово» сказал «Здравствуйте» и когда ему часть заключённых нашей камеры ответила: «Здравия желаю, ваше» и так далее, часть ответила просто «Здравствуйте», а часть совершенно ничего не ответила. И, несмотря на это, кроме замечания, правда, внушительного порядка, «Так не отвечают», ничего не последовало.

В тот же день я был вызван в тюремную контору к помощнику начальника – заведующему мастерскими. Он оказался

одной национальности со мной, то есть «землячок» в погонах. Я не особенно долюбивал подобного рода землячков. Вызвав к себе, он, нужно сказать, вежливо спросил:

– Вы переплётчик?

Отвечая, что я не переплётчик, а по профессии наборщик, я этим самым хотел отделаться от работы в переплётной мастерской, зная, что в Шлиссельбургской каторжной тюрьме типографии не имеется, и, будучи осведомлённым уже от заключённых своей камеры, что хотя и бесплатно из общих камер выпускают на двор на разного рода работы: уборку двора, посадку цветов, поливку и прочее, а иногда и выпускают за пределы тюремной ограды на остров. Так как состояние моего здоровья требовало больше свежего воздуха и физической работы на воздухе, то я задался целью во что бы то ни стало отделаться от работы в какой бы то ни было мастерской. Однако помощник начальника, заглянув в присланное моё дело и посмотрев на меня, сказал:

– Неверно, вы наборщик по профессии, но вы уже несколько лет работали в переплётной мастерской Петроградской пересыльной тюрьмы, и по отзывам ваших же товарищей, там работающих, которых я уже вызывал, числитесь лучшим переплётчиком и позолотчиком, и, если вы не пойдёте в переплётную мастерскую, мы вас пошлём в ткацкую.

Конечно, ткацкая мастерская была тем пугалом, которым нас пугали в каждой тюрьме. Это было не только пугалом, но за подобным заявлением следовали действия.

На объяснения, что я не желаю и не могу дальше работать в переплётной мастерской по той простой причине, что моё здоровье слишком расшатано, что мне требуется больше свежего воздуха, чем я могу получить его во время тюремных прогулок по двору, заведующий мастерскими ответил, что из переплётной мастерской в летнее время, а изредка зимой, будете ходить в посторонние работы и что переплётная мастерская помещается в третьем корпусе, где, хотя и имеются строгости, но тем не менее обращение с вами гораздо лучше, чем в других корпусах. Видно, поняв, а может, и узнав из моего дела, что мы из-за режима достаточно пожили в пересыльной тюрьме, и желая меня как «своего землячка» предупредить, что в третьем корпусе хотя режим и строгий, обращаются на «вы» и прочее, он, этим самым хотел во что бы то ни стало расширить ту мастерскую, которая в данной тюрьме была в наихудшем состоянии. Я ответил, что на всё согласен. И со словами «Подумайте» он отправил меня обратно в камеру.

Придя в камеру, я расспросил товарищей, есть ли смысл пойти в переплётную мастерскую и будет ли полезным переход в третий корпус, где придётся сидеть в одиночке, хотя днём и работать. Товарищи мне ответили, что не только есть смысл, но это необходимо, необходимо потому, что можно своей работой зарекомендовать себя в переплётной мастерской с тем, чтобы с помощью переплётной и через неё создать хорошую тюремную библиотеку, во-первых, во-вто-

рых, имея связь с воли, имея своих заказчиков, можно было через переплётную мастерскую, приналаживаясь к её работе, получить всё то, что является не просто нелегальным и не разрешённым с точки зрения тюремной администрации, но нелегальным в прямом смысле этого слова. Обменявшись мнениями, решили, что действительно так и стоит поступить.

Как читатель увидит впоследствии, переплётная мастерская сделала большое дело для Шлиссельбургской крепости и находящихся там политических заключённых. Через день-два я был снова вызван помощником начальника тюрьмы – заведующим мастерскими, который спросил:

– Ну, надумали?

На что я ответил, что хотя и не надумал идти в переплётную мастерскую, но не желая идти в ткацкую или какую-нибудь другую мастерскую, я согласен отправиться в переплётную. Получив некоторые указания о необходимости ознакомиться с имеющимися там инструментами, материалами, заказами, а затем при перепроверке доложить свои соображения об улучшении этой мастерской, я в тот же день был направлен в третий корпус. Со мной вместе послали того же Филимонова – уголовника, с которым я сидел в пересыльной тюрьме и которого, пока он находился несколько дней в Крестах до отправления в пересыльную тюрьму, считали колдуном. Несмотря на то, что он был уголовником, он по переплётному делу был хорошим мастером, и мы с ним, идя в

третий корпус впрямь до того, как ознакомились с товарищами, живущими в третьем корпусе, заявили о своём желании быть в одной камере старшему надзирателю и отделенному третьего корпуса. Мы были помещены в пятую камеру (первая налево от входа в корпус), за нами захлопнули вершка в три толщиною и окованную железом дверь. Шум от закрытия этой двери прозвенел в ушах, как будто бы захлопнули дверь несгораемого шкафа.

Взглянув моментально кругом, я увидел, что мы попали в небольшую камеру пять с половиной шагов длиной и четыре шага шириной, со сводчатым потолком, с каменным полом, с каменными стенами, с одной железной кроватью, приделанной к стене, поднятой и закрытой, и другой, складывающейся в длину деревянной переносной кроваткой. В камере был небольшой столик, две полочки и около двери какая-то железная тумба, покрытая крышкой. Подняв эту крышку, мы убедились, что это уборная. Рядом с уборной была раковина для умывания и соответствующий кран; кран в стене промывал уборную. Кстати, об этой уборной: она имела вид трубки и, несмотря на то, что она была расположена в маленькой камере, вытяжка в ней была сделана такая, что совершенно незнающие, что это уборная, не могли предполагать о наличии таковой, так как никакого зловонного запаха она не издавала.

Первое впечатление, которое произвела на меня эта камера, было такое, что я с жутью подумал, что это не камера,

а что-то вроде каменного гроба, из которого, несмотря на то, что я уже сидел около семи лет в разных тюрьмах, из которых четыре с лишком срока каторги, мне не выбраться. В самом деле, иметь впереди ещё около пяти лет каторги, а затем этап и ссылку, стоило подумать только о своём здоровье, о том питании, которое нам давалось, и прочее – как невольно приходили эти мысли. Тут же эти мысли отталкивались и отбрасывались другой мыслью – о необходимости жить, необходимости выйти на свободу, необходимости не пропадать зря, ибо я считал, что те жертвы (расстрелы, повешения, каторга, ссылка и прочие наказания), жертвы Прибалтийского края, которые по удельному количеству превышали жертвы всей царской России за 1904—1905 годы, могли быть отданы за общее рабоче-крестьянское дело с гораздо большей пользой. Как бы то ни было, о воле тут нечего было и думать и пришлось мириться с действительностью.

На следующий день нас пустили в мастерскую для ознакомления с работой.

Мастерская представляла из себя две одиночные, соединённые вместе камеры, и работало в ней два-три товарища из политкаторжан – товарищ Мартынсон и другие. Мастерская эта, которая должна была впоследствии создать тюремную библиотеку, библиотеку не ту, которую организовала тюремная администрация, а библиотеку политкаторжан, представляла не мастерскую, а так себе – пару ломаных тисков, десяток никому не нужных досок, гобель, нож для обрезки книг,

и пару сапожных ножей вместо ножей переплётных. Вот всё оборудование.

Поскольку в задачу нашу, то есть вообще переплётчиков, входило что-то такое сделать для всей каторжной централки – для политических, надо было себя зарекомендовать как мастеров, умеющих работать, а затем уже добывать заказы, а затем, затем скажем после...

Заявив помощнику начальника заведующего переплётной, что переплётная носит отпечаток допотопности, мы с Филимоновым (уголовник, с которым вместе прибыли) заявили, что при небольшом пополнении инструментом, в том числе золотарным (шрифт кое-какой имелся), мы сумеем сделать образцы, а затем уже надо будет искать заказы. Помощник начальника согласился, и мы ждали инструмента, а пока я лично знакомился с теми политическими, которые здесь, в третьем корпусе, находились.

Во-первых, в самой переплётной, кроме Мартынсона, два другие были бесцветные личности, которые, хотя и назывались политиками, ничего общего с политикой не имели. Но знакомился и с другими товарищами, припоминаются товарищи Лихтенштадт, Степанов, Вороницын, Варышев, Петров, Орджоникидзе, Сухоруков, Муравин, Жук, Аснин, Заггейм, Коган и ряд других, фамилии которых уже позабыл. Нужно сказать, что все эти товарищи ежедневно вели горячие споры о политике, но, поскольку я пишу беглые воспоминания, особенно на вопросах споров и дебатов останавли-

ваться не буду. Скажу лишь одно, что в тюрьме и в каторге все были большие политики и трудно было разобраться, тот ли действительный политик, кто больше всех говорил и разводил ту или иную теорию, или тот, кто меньше говорил и продумывал все политические вопросы. Февральская революция, открывшая двери каторги, и последующая борьба рабочего класса показали, кто с пролетариатом, кто отстаёт от него, и кто против него. Имея в виду, что большинство из выше приведённых товарищей живы, как и я, и здравствуют, и чтобы не нажить много неприятностей, я лишь скажу кратко несколько слов о них, как я их понимаю.

Товарищ Лихтенштадт был тем товарищем, вокруг которого концентрировалось общественное мнение политзаключённых третьего корпуса. Вечно суетливый, он всё о чём-то хлопотал, беспокоился, подталкивал товарищей.

– Товарищи! Но так же нельзя. Надо что-то предпринимать, надо протестовать, надо послать делегацию к начальнику тюрьмы, надо требовать. Надо же создать свою библиотеку! Пусть только переплётчики берутся за дело, я переговорю с мамой, она пришлёт книги и журналы для переплёта, можно выбрать, что нам нужно, переплести и прочее. Нужны в переплётной свои люди, каких не нужно – «вытурить», надо дело поставить на «нелегальную» ногу и тому подобное.

Он хлопотал о библиотеке, о передачах (передача продуктов) всему корпусу, он хлопотал об огороде, о цветах, о разрешении работать в садиках, хлопотал об устройстве клумб

на всех тюремных дворах, он весной бегал и суетился по тепличке (оранжерея), около парников, по огороду, по садикам около клумб и цветов, и в то же время он читал и учился. Он был товарищем, которого не скоро обидишь, который сам не скоро обижается, но который не обижает и других. Он не был высокомерный и гордый, не хвастался своими политическими делами, не кичился, не бравировал... Какого он происхождения – я не знаю, но говорили, что его мать имеет доступ в «высших кругах». По освобождению в 1917 году он принимал деятельное участие в работе и впоследствии был убит на Западном фронте.

Товарищ Степанов – молодой парнишка, считал себя «максималистом», был большой друг и приятель Лихтенштадта, принимал горячее участие во всех политических и других спорах; будучи освобождённым в 1917 году, учился в Петрограде шофёром, впоследствии работал в Ленинградском отделе политкаторжан, а затем в Москве в обществе политкаторжан и как будто от политики отошёл.

Товарищ Вороницын, сподвижник лейтенанта Шмидта во время восстания на броненосце «Потёмкин», был осуждён на вечную каторгу; закованный в ручные и ножные кандалы, главное своё время уделял изучению языков, причём на изучение каждого языка устанавливал срок в три месяца, изучив его, начинал читать, а затем свободно переводил на русский язык и обратно. К 1916 году, кажется, вместе с русским языком он знал около десяти языков. Нам, переплётчикам,

удалось его втянуть в переплётное дело под видом «специалиста» по шрифтам, в которых он мало понимал, и таким образом избавить его от ручных кандалов (наручных). Что с ним было по выходе из Шлиссельбургской каторги, чем он помог пролетариату в его борьбе за освобождение от керенщины... знаю лишь одно, что в 1923—1924 годах он был сослан в Архангельскую губернию, кажется, за антисоветскую деятельность.

Товарищ Варышев – коренастый матрос, похож на фельдфебеля, добродушный малый, о политике спорил хладнокровно, но иногда горячился, тоже был втянут в работу переплётной мастерской. Какова его судьба после каторги – мне неизвестно.

Товарищ Петров – доктор, кажется, член 11-й Государственной думы, спорил и дебатировал, как говорится, с толком и расстановкой – убедительно. После каторги принимал деятельное участие во всём революционном движении, был большевиком и таковым остался, и как будто в настоящее время имеет звание профессора и работает в Москве как профессор и член ВКП(б).

Ну а товарищ Орджоникидзе Серго – каков он был в Шлиссельбургской каторге, таковым остался и сейчас, разве только, что тогда не к чему было применять свои таланты, кроме того, что в спорах и дебатах по тому или другому вопросу доказать товарищам, где кто прав, а где и нет. Помнится, что каторжный «мундир» на нём никак «не сидел» и кан-

дали вечно как-то болтались. Теперь нарком РКИ СССР.

Товарищ Сухоруков – хладнокровный, любитель поговорить о политике, поспорить, держался идеально политически, болел горловой чахоткой, и к 1916 году врачи уже предвещали его смерть, однако в 1918 году я его случайно встретил в Воронеже. Из беседы, которую имел с ним, видно было, что парень «эсерствует» и что тот порядок, который заведён рабочим классом и крестьянством под руководством Коммунистической партии, ему не по нутру и ему не по пути с нами.

Товарищ Муравин – нервный, маленького роста, близорукий еврейчик, добродушный, любил пополитиканствовать, но, как мне передали, по выходе из каторги от политической работы отошёл. Не помню, с чего и почему, но как-то так вышло, что, шутя многие товарищи называли его «мышинным жеребчиком». Имея при себе всегда коробку с махоркой, папиросной бумагой, ужасно обиделся, когда я однажды по привычке на его обращение «Дайте закурить», протягивая коробку с табаком, сказал:

– Заказ вышел, с нового года всяк должен иметь свой табак.

Нужно сказать, что подобного рода выражение сохранилось у меня и до сих пор, но, наверное, товарищ Муравин, мня себя большим коммунарком, принял это моё выражение за индивидуальные мои наклонности.

Товарищ Жук – высокий крепкий мужчина, считал себя

анархистом, относился к товарищам свысока, сидел один в одиночке и никого к себе не принимал. Какова его судьба – мне неизвестно.

Товарищ Аснин тоже называл себя анархистом, рассказывал небылицы о своих анархических похождениях, кичился своим «анархизмом» и прочее. Почему-то в баню ходил, даже в парную, с перекинутым через плечо полотенцем; мы подозревали, что он уголовник и что у него на спине уголовники же сделали татуировку с какой-нибудь пакостью, однако никто не решился у него полотенце сорвать да и спросить, почему, мол, ты так в баню ходишь, или прикрываешь что-либо непристойное? «Анархизм и храбрость» его особенно ярко можно подчеркнуть из того, что по освобождении в 1917 году, когда «анархисты» заняли в Петрограде какую-то типографию (кажется, «Земля и Воля») и когда их окружили войска Керенского, Аснин заявил, что типографию не сдадут и без боя не сдадутся, однако типография была взята без выстрела. Когда потом, приходя к ним в гости в общежитие (я проживал в общежитии бывшей гимназии Шаповальникова, а они где-то поблизости), подтрунивал над ними всеми, в частности над Асниним, он огрызался, сердился и говорил:

– Но ведь вместе с войсками были рабочие, не могли же мы стрелять или кинуть бомбы в рабочих.

Однако впоследствии, когда анархисты переселились на дачу Дурново и когда их окружили верные войска «правителя» Керенского – казаки, анархисты также без боя сдались,

правда, случайно, вследствие неосторожного обращения с бомбой был убит Аснин.

Товарищ Заггейм – спокойный, хороший товарищ, учился и доучился до того, что так же, как товарищ Вороницын, оба чуть не ослепли. Не зная, какая его судьба по выходе из каторги, в 1921 году встретил его в городе Симбирске (ныне Ульяновск), куда он прибыл с поездом общества политкаторжан для эвакуации голодных детей. В 1923—1924 году встретил его в Москве работающим в книжном магазине общества политкаторжан. Кажется, он от политики отошёл.

Товарищ Коган – невысокого роста, толстенький, плечистый, считал себя большим «политиканом», умнее всех и по каждому вопросу старался переспорить всех, давая по всем аспектам «фактические обоснованные справки» из любых лексиконов и тому подобное. Полагал себя, если не ошибаюсь, социал-демократом, однако, встретив его в Москве в 1923—1924 году уже под другой фамилией, из разговора с ним вынес впечатление, что он хотя и занимается «мирным трудом» по литературной части, всё же живёт политической жизнью не в духе советской власти.

Ну что же, остаётся и о себе сказать пару слов. Не знаю, за кого и кто как меня считал из товарищей, но большим политиканством я не занимался, да и теоретически был слабее многих других, сидящих в третьем корпусе. Я же сам считал себя членом Латышской социал-демократической партии большевиков и по возвращении из каторги сохранив-

шийся членский билет и квитанции об уплате членских взносов сменил на новый, так же и первую демонстрацию по приезде из Сибири провёл во главе с сохранившимся знаменем (флагом) 1905 года. Возможно, что недалёк тот час, когда снова извлечём этот флаг из подземелья и водрузим его вместо флага белой Латвии.

Почему я описываю эти краткие характеристики своих политических сокаторжан? Характеристики, которые читателю, на первый взгляд, ничего не дают? Потому, что не все политкаторжане остались верны пролетарскому делу или отошли от политики, от общей борьбы на гражданском и хозяйственном фронтах и стали совершенно аполитичны, другие пошли против нас – против Советов и Коммунистической партии. Особенно, кому памятен 1918 год, тот помнит эсеровские авантюры (а ведь они тоже тысячами сидели на каторге), ранение вождя и учителя Владимира Ильича и другие выступления, тому будут понятны эти характеристики политиканства и политиканства в кавычках.

Как и во всех корпусах, было много уголовных, среди них так называемые «скрывающиеся», то есть провокаторы, предатели, которые скрывались из тюрьмы в тюрьму, из корпуса в корпус, чтобы их не узнали и при первой встрече не били. Но о них после.

Но вернёмся к переплётной. Небольшое пополнение инструментом не заставило себя долго ждать, и мы с Филимоновым взялись за дело, то есть, получив пачку книг, сдела-

ли все сорта образцов с золотым тиснением, узорами и прочее. Администрации образцы понравились, и дело осталось за получением заказов. Когда стали поступать заказы в большом размере, мы потребовали резательную машину, паптер (для резки картона), круглилку (для закругливания корешков), сшивалку и прочее. Понятно, нам во всём этом отказывали.

Невзначай в городе (Шлиссельбурге) открылась типография, хозяин её дал публикацию, что и переплётная открывается, и стал вести переговоры с тюремной администрацией о том, чтобы его заказы исполнялись у нас. Администрация согласилась, и мы получили большие заказы на переплёт конторских книг для всех пороховых и близлежащих заводов, стали поступать и гражданские книги. В результате мы поставили дело так: если тюремная администрация не приобретёт машины, ей придётся уплатить заказчику большую неустойку. Машины были найдены, правда, уже поизношенные, но всё же машины.

Зарекомендовав себя в работе (нужно сказать, что Филимонов пошёл с нами), необходимо было взяться за создание своей библиотеки. Да, кстати, о зароботке – по тогдашним «законам» каторжанам платили с каждого зароботанного рубля десять копеек. Так как такой зароботок никого не устраивал, и так как отказ от работы повлекал за собой порку или карцер, то была проведена итальянская забастовка, в результате которой нам стали платить двадцать восемь копе-

ек с каждого заработанного рубля.

Итак, о библиотеке. Как я уже сказал, стали поступать гражданские заказы, то есть заказы гражданских лиц на переплёты. К этому времени уже 4-й корпус добился, чтобы в библиотеке были политические каторжане. Помню, один из них там был товарищ Малашкин, который меня назвал «чухной», а я его «козёл-борода». Он меня так именовал потому, что я не русский, а я его – потому, что он носил бороду, похожую на козлиную. Всё это, понятно, по-дружески и шутя. Из поступающих для переплёта гражданских книг главную массу составляли книги и журналы, посылаемые матерью товарища Лихтенштадта. Сдавая в контору заказы ящиками, она просто заказывала – сделайте столько-то переплётов, а какой это переплёт – сами переплётчики, если они переплётчики, поймут, какие книги можно переплести вместе, какие нет, ну а если будет книгой меньше или больше, тоже не беда. Всё это, понятно, было заранее обусловлено с помощью переписки. Нужно сказать, что наряду с этими книгами поступали от «благотворительных» дам в подарок тюремной библиотеке для спасения душ заключённых всевозможные церковные книги – жития святых и прочие, которые должны были быть переплетены, сданы обратно в тюремную библиотеку, чтобы раздавать их для чтения.

Вот эти-то «святые» книги нам сослужили хорошую службу, тем более что они поступали изрядным количеством.

Так вот, получив книги Лихтенштадта для переплёта, мы,

что называется, раздирали их на части, особенно ежемесячные журналы. Всё политическое вынималось, сшивалось и переплеталось в жития святых и в прочие «святые» книги и под заглавием «Житие святых» сдавалось в библиотеку, а там, в библиотеке, они стояли рядом с другими книгами, житиями святых, под одним номером, на одной полке и прочее, обозначенные лишь небольшими пятнышками, в отличие от других, дабы, когда поступали требования на них, не спутать и чтоб наши «жития» святых не попали в ненадлежащие руки, а лишь тем, в которых не сомневались, что они не выдадут. Переплетали и просто так, под разным «соусом» в «тюремный переплёт», то есть так, как переплетались библиотечные книги.

Не знаю, задумывалась ли хоть раз тюремная администрация над тем, почему политические стали читать жития святых, или нет, но факт остаётся фактом, что изо дня в день мы пополняли библиотеку тем, чем было нужно и что официально не разрешалось.

Посмеивались мы не раз, когда однажды дурак-тюремщик, инспектор, поковырявшись в библиотеке, нашёл, что сочинения Шеллер-Михайлова вредны для каторжан, и приказал изъять их из обращения. Знал бы он, что фактически имеется в библиотеке, наверное, со злости и обиды, что их так обвели, издох бы.

Посредством книги мы получали и деньги на руки, посредством книги, подчас Библии, мы на этапах возили день-

ги с собой. Делалось это просто. В присылаемых заказах прятались деньги, мы при переплетении книг их находили, заклеивали в корешки книг того или иного товарища, а через библиотеку он получал их на руки. Как я уже сказал, самая безопасная книга для этой цели была Библия или Новый завет, её и конвой пропускал без задержки, дескать, пусть помолится богу за свои грехи. Однако и этот номер через годы провалился: стали пробойником пробивать корешки книг и, обнаружив раз-другой в них деньги, отдали по всей линии распоряжение – от тех книг, которые дозволялось иметь при себе, отрывать корешки; не жалели и Библии, и Новые заветы, и жития святых, и прочие, разрешали перевозить с собой лишь книги с мягкими переплётами. В таких случаях мы, переплётчики, заделывали по заказам деньги в так называемый «отстав» или «речен», то есть в ту часть переплёта на корешке книги, которая проложена тонким картоном или бумажкой, чтобы корешок не приклеивался к самой книге, делая два отступа и прокладывая между ними ту или иную бумажку (трёхрублёвку, пятёрку, десятку или четвертной).

Впоследствии, когда и это «провалилось», единственным способом иметь при себе деньги служили фотографические карточки, в середине которых клеивали деньги.

Почему это нужно было, спросит читатель. А вот почему. Как я уже сказал, иногда необходимо было подкупить надзирателя, а главным образом, для того, чтобы, отправляясь на

этап, не жить впроголодь, ибо выдаваемых девяти-одинадцати копеек суточных, при наличии ещё воровства со стороны конвойных, не хватало местами на хлеб. Необходимо было иметь в таких случаях свои деньги.

Спросите: если в каторге «не полагалось» иметь при себе деньги и их на обыске отбирали, так как же конвойная стража их не находила? Не знаю, какие существовали на сей счёт распоряжения, но по установленному обычаю, что ли, конвой деньги не отбирал, да и ему невыгодно было: изъятые деньги он обязан был сдать в тюремную контору, а от имеющихся при заключённом денег в дороге он наживался, беря вдвое дороже за покупаемые через него продукты и папиросы.

Чтобы не вернуться к переплётной, необходимо сказать ещё пару слов. Если вообще мастерские служили связью между отдельными корпусами, так тем более такой связующей нитью являлась переплётная. Посредством переплетаемых книг «записки» (письма) направлялись из одного корпуса в другой.

Кстати, вообще о связи. Помимо описанного мною контакта с волей, система сообщений существовала между отдельными корпусами, причём Шлиссельбургскому каторжному почтамту могут завидовать многие ныне существующие почты и почтовые отделения. Там, в Шлиссельбурге, корреспонденция не пропадала и не попадала в другие руки. Там она при постройке новой бани была устроена в потайни-

ке самими каторжниками, да так, что как администрация ни рыскала, почты так и не сыскала: она была вделана в отдушине так, что когда, подозревая, что в отдушине могут быть записки, то есть почта, тюремная администрация её отвинчивала, она там ничего не находила, в то время как заключённые во время «бани» приносили и уносили туда и оттуда свои записочки, ибо в отдушине было потайное углубление, а в нём почтовый мешок с петлями, который доставался с помощью крючочка на ниточке, использованием которого выживали мешочек. Брали оттуда и клали туда только те, кому это было доверено.

Прежде чем перейти к остальным эпизодам жизни Шлиссельбургской каторги, остановлюсь в двух словах на уголовных, находящихся в третьем корпусе.

В памяти остались только Де-Ласи, Гейцман, Орлов и несколько «скрывающихся», фамилий которых не помню. Первые два, кроме мерзко-отвратительного, ничего из себя не представляли. Де-Ласи – француз, сотворивший ряд грязных мошеннических дел, изнасиловавший не одну девушку, кого-то мерзко убил или что-то вроде этого, имел вечную каторгу, был закован по ногам и рукам, посуду, из которой ел, никогда не мыл и жил свинья свиньёй.

Гейцман – это молодой барончик, изнасиловавший и ограбивший проститутку, воображал, что он и в каторге остался бароном, и вёл себя по-баронски, – без какао, молока и белого хлеба жить не мог и прочее; однако, когда перестали при-

сылать деньги, когда вся выписка продуктов была ограничена в четыре рубля двадцать копеек в месяц, когда пришлось сидеть почти исключительно на казённых харчах, баронский дух понемногу улетучился.

Орлов – каторжник-обратник, осуждённый на вечную каторгу по совокупности за несколько церковных и других краж и за грабежи. Маленького роста, скандалист, кичун, был замечателен тем, что целыми часами на прогулке мог рассказывать небылицы о своих похождениях в России и Сибири, и, когда его уличали во лжи, он отпирался, доказывал, а когда уже совсем попадал впросак, сердился, переставал разговаривать, с тем чтобы на следующий день начать снова рассказывать небылицы.

Помнятся мне следующие его рассказы. Как-то раз, увлѣкшись, он стал рассказывать:

– Я и мой товарищ такой-то обокрали, посредством распила решётки, такую-то церковь. Денег нашли видимо-невидимо, всё рубли да полтинники, – и назвал приблизительную сумму в тысячу рублей. – Ну, понятно, насыпали в мешки, вылезли, ну и обратно через окно – направились к лесочку. Вдруг слышим, набат, погоня – мы дралу и бежали, бежали – аж дух захватывало. Вѣрст семь отмахали, но ушли.

Пока Орлов рассказывал, кто-то прикинул названную сумму рублей на фунты и пуды, и вышло, что на каждого вора приходилось тащить около трёх пудов. Спрашивает:

– Да как же вы так бежали-то, когда три пуда на брата се-

ребра пришлось, да ещё семь вёрст?

– Как по три пуда, когда около пуда всего было?

И пошли споры, пока Орлов, окончательно рассердившись, плюнул и произнёс:

– Что ж, я вешал, что ли. – И отошёл в сторону.

Второй его рассказ сводился к тому, что вот, мол, когда я возвращался из Сибири, обходя деревню, забрели, дело было под Пасху, есть было нечего, видим, воронье гнездо рукой подать. Говорю, мол, приятелю:

– Полезай за яйцами, ты помоложе, сварим и поедим.

Тот полез, полез, стал доставать и в шапку класть – ветка-то и обломилась. Как понёсся вниз, а высоты-то саженой десять, брякнулся оземь, еле жив остался.

Как, мол, так, то рукой подать было, то вдруг саженой десять?

Опять плюнул и пошёл, бурча:

– Что ж, я мерил, что ли?

Третий раз он рассказывал, как при таких голодных обстоятельствах, обходя деревню, на окраине зашли в баню погреться, как поймали поросёночка, зарезали, часть положили в мешок, а часть зажарили, и хорошо. Но, забыв о том, что зарезали и зажарили, он дальше рассказывал, что вот, мол, выбрались на дорогу, прошли конец деревни, даже перекрестились, слава богу, что миновали все опасности, как вдруг бац – навстречу пристав. Ну, понятно, покорно поклонились, прошли мимо. Опять, славу богу, миновали беду, вдруг по-

росёночек-то наш как заверещит в мешке, ну мы его бросили и бежать.

– Стой, постой, – кричат, – как же зарезанным-то визжать мог?

Орлов видит – заврался, отходит.

Это я описываю единичные случаи вранья обратников, но это у них было у всех как общее явление, и вполне понятно: в «старой» каторге, то есть когда ещё там не было политических или было их очень мало, вот эти-то обратники задавали тон всей каторжной централи, играя роль «Иванов» (вроде самого себя избравшего начальника своей камеры, издевающегося над остальными, главным образом крестьянами, попавшими в каторгу за случайные убийства), «майданщиков», вроде камерного лавочника. Причём нужно сказать, что всех «Иванов» и «майданщиков» поддерживала вся высшая тюремная администрация для «порядку», а с надзирателями они делились прибылью.

С появлением политических всех этих Иванов и майданщиков вывели.

Примерно такая же картинка жизни была и в других корпусах Шлиссельбургской каторги, разве только в несколько изменённом виде.

Перейдём к тем дням и минутам, когда нам немного лучше жилось.

Лучшими днями и минутами можно назвать то время, когда нас стали выпускать на бесплатные работы в огород и

по садикам для разведения клумб-цветников, когда целыми днями мы были на чистом воздухе, копали, сеяли, поливали не только на тюремных дворах, но и за оградами тюрьмы этого маленького острова. Сколько весёлых дней, особенно когда набираешь воды из Ладожского озера или Невы-реки для поливки цветов и тут же незаметно для надзирателя окунаешься в воду во всём своём арестантском костюме, а потом соврёшь ему, что нечаянно споткнулся и упал в воду, или когда встретишь другую партию работающих, перекинешь словягой, узнаешь о своих знакомых кое-что нового и прочее.

Ухитрялись мы перепиской играть в шахматы и на ходу на память делали по два-три хода. Помню, кажется, товарищу Маргульсу из четвёртого корпуса я проиграл туру, хотя к концу игры положение у обоих рисовало «ничью», однако, считаясь лучшим игроком, я признал себя побеждённым с тем, что при отправке в Сибирь (он должен был освободиться раньше) при первой встрече мы играем на лучшего игрока. Кажется, в селе Манзурке в Сибири он проиграл потом пять партий и признал, что ему со мной «не под силу» тягаться.

Так вот, о цветах и клумбах. Начиная с 1912 года до конца существования Шлиссельбургской каторги как летом, так и зимой стали пускать на «вольные работы». Только не всегда эти работы приносили радость. В то же лето 1912 года кого-то выпороли. Так как вопрос недопущения порки был вопросом принципа, то тут же был организован протест:

часть объявили голодовку, часть просто не подчинялись распоряжениям, часть саботировала работу, а соответствующие делегаты вели переговоры с тюремной администрацией, поставив условие, что протесты будут прекращены, когда начальник тюрьмы (кажется, Зильберг) даст слово, что больше по́рок не повторится. Однако «волынка», как называла протесты тюремная администрация, протянулась до десяти дней. Слово было дано, и протесты кончились.

К концу протестов появился в Шлиссельбургскую крепость и сам губернатор, который, зайдя в переплётную и поздоровавшись с нами, стал нас спрашивать о фамилиях и, узнав о том, что моя фамилия Рейн, спросил, не родственник ли мне член Государственной думы Рейн (кажется, кадет), и, получив, что с подобными Рейнами я не братаюсь, немедленно же выскочил. Мы ждали, что посещение губернатором крепости, как и всегда при посещении высшего начальства бывало, повлечёт за собой «посадку» в карцер. На этот раз посещение оказалось более благополучным, даже нашего «пень пнём», который с перерывом три дня почти отсидел в карцере девяносто суток и для острастки был заточён в такой подвал, где уже «сажать не полагается», губернатор выпустил да дал начальнику нахлобучку, а последний по «отъезду губернатора» при первом же этапе отправил парня в худшую каторжную централь.

Помимо жалоб, которые мы писали по всем адресам на неправильные действия тюремной администрации и надзи-

рателей, мы иногда повествовали об издевательствах над нами и в своих письмах домашним (зная, что они контролируются и их не пропустят, но, в то же время, что о них доложат кому следует и мы всё же причиним виновным неприятности). Я лично за такое письмо был лишён на шесть месяцев переписки.

Были и другого сорта протесты. Так, одного из злостных надзирателей с баржи бросили в Неву. Правда, его спасли, он не утонул, кинувшего судили, но некоторая острастка другим. Одного сделали болеющим галлюцинациями и вечно видящим деньги у заключённых. Довели до того, что, вызывая запасные отряды надзирателей на обыск, денег не находили, он же видел, клялся и уверял, что деньги были, а мы распускали слухи, что он больной галлюцинациями, после двух-трёх операций с обысками потребовали снять надзирателя и отправить к доктору. Доктор нашёл у надзирателя повышенную температуру и сильно нервное состояние. Надзиратель уверял, что он здоров и нервный потому, что каторжане его делают таким, а его всё же убрали. Опять для других надзирателей предупреждение, а мы избавлялись от негодных и злых надзирателей. Прodelывали и более «крутые шутки» и постепенно приучили и надзирателей обходиться с нами как с людьми.

Прежде чем перейти к последующим годам, остановлюсь на нашем тюремном докторе. Фамилии его не помню, но мы его не называли иначе, как коновалом, и знали, что идти к

нему идти за медицинской помощью, тоже самое, что попасть в карцер. Не помню, было ли это в 1913 или 1914 году, но в крепости жить стало трудно, кажется, не было дня, чтобы из больницы не выносили то одного, то другого в покойницу: в больнице не лечили, а калечили. Дело дошло до того, что несколько раз предупреждали нашего коновала, чтобы он ушёл, пока цел, предупредили об этом тюремную администрацию. Доктора не убрали, да и сам он не ушёл, а к нему для охраны поставили надзирателя. Один из больных чахоткой взялся с доктором покончить и, несмотря на охрану, нанёс ему пять ран специально полученным из слесарной ножом. Доктор оказался жив, порезавшего судили дополнительно, но в тюрьму прислали нового доктора, кажется, немца. Хотя этот новый, как врач, мало интересовался больными и не пичкал их лекарствами, но он принял меры к улучшению пищи, стал выдавать более слабым больничную пищу в камеры – дополнительное питание в виде бутылки молока и фунта белого хлеба, фельдшер его пополнял лекарственную часть, и дела наши стали поправляться.

Однако наступил 1914 год с его империалистической войной. О ней мы узнали случайно. В крепости звонарём был солдат действительной службы и числился там не звонарём, а почему-то комендантом крепости, в которой в гарнизоне состоял он единственный. По выходу на работы, нам приходилось работать близко около церкви, и мы всегда втихомолку вели с ним беседу, он нам и сообщил, что война с Германи-

ей. С открытием военных действий, понятно, пища в крепости с каждым днём ухудшалась и дошло до того, что подавали хлеб недопеченный, со всякими примесями, тухлую кашу, а суп стали варить не с мясом, а с селёдкой или салакой. Несмотря на это, в крепости, во всех корпусах царило воодушевление, особенно когда разрешили получать правительственные «враньё-телеграммы» и правительственный вестник. Каждая прогулка была сплошной политический спортивный-беседа. Патриотизму не было конца – вот, мол, займут Перемышль, за ним Краков, а там и до Берлина и Вены пустяки, остаётся рукой подать, а там... там кончится война, ну тогда, когда вернутся солдаты с фронта, тогда и до революции рукой подать. Словом, спорили до отупения, спорили, заключая пари на коробку конфет, папирос и прочее, спорили политические. Я лично не оказался патриотом, доказывая обратное, и получил не раз и не два окрещение «германофил». Особенно патриотизм достиг высших пределов после патриотической демонстрации студентов Москвы. Да, ведь вольные люди – передовые – тоже понимают, что надо с Германией покончить, им виднее. Правда, были и такие, которые доказывали противоположное, но счёт их шёл на единицы.

Патриотизм стал остывать по отступлении из-под Кракова и Перемышля и совсем пропал после сдачи Белостока и других крепостей. К концу 1916 года заговорили о другом, о том, что, пожалуй, с немецким рабочим и крестьянином в

солдатском мундире надо считаться и он не враг наш. Правда, и тут надо оговориться, что до февраля 1917 года ещё революции никто не предполагал. Положение с кормёжкой, как я уже сказал, с каждым днём ухудшалось, и мы стали требовать разрешить нам увеличить выписку (покупку продуктов) за свой счёт и не включать в 4 рубля 20 копеек в месяц табак, мыло, курительную бумагу, почтовую бумагу, марки и прочее. Нам отказали, да и махорку не отпустили, так как на осьмушке красовалось «цена 9 копеек», и на основании 940-й статьи выше указанной продавать воспрещается и прочее. Махорка 1/8 фунта стоила фактически 25 копеек. Начальник крепости на «такое незаконие» не мог пойти, и нам оставалось сидеть без махорки или выписать в две недели раз четверть фунта лёгкого табака, который стоил 2 рубля 10 копеек, что я лично и сделал и был после этого вызван в контору к начальнику для нотации, что это слишком дорогая роскошь, что он сам такой табак курит на праздники, и то по пять папирос в день, что надо выписывать чай, сахар и прочее. Я ответил, что мне нужен табак и принуждён выписывать то, что дают. Меня отвели обратно в корпус и несколько дней спустя сообщили, что табак поставлен не в счёт и могу выписывать другие продукты ещё на два рубля двадцать копеек. Это уже был повод требовать всем такого же положения. Примерно через неделю по переписке с инспектором тюрьмы нам разрешили в месяц выписку на семь рублей двадцать копеек без зачёта табаку и прочего не съестного.

Да, кстати, с начала боевых действий в тюрьму стали поступать работы на войну: кроили, шили, сколачивали и прочее – трудились, кто хотел и мог.

Но оставим Шлиссельбург со всеми его мрачными стенами.

Мой срок истекал с какими-то там «скидками по закону» 20 декабря 1916 года, а 16 декабря я был направлен в Петроград в пересыльную тюрьму для дальнейшего следования этапным порядком в Сибирь. Двадцать пятого декабря 1916 года этап вышел из пересыльной тюрьмы, где нас уже достаточно за эти девять-десять дней сумели поесть паразиты, которых там во время войны развелось видимо-невидимо. Нас всего на этапе оказалось три политических каторжника: я, старик Паленкин и не помню кто третий.

На вокзале до посадки в поезд пришлось ждать долго, ибо конвой или железнодорожная администрация не подготовили арестантские вагоны, и, наконец, после долгих споров для нас отвели восемь вагонов четвёртого класса и записали как селёдок в бочку. Уже достаточно потаскавшимся по тюрьмам, нам, каторжанам, этот порядок не понравился, и мы втроём заняли на двух скамейках такое положение, чтобы иметь возможность ночью прилечь и спать. В наш вагон были размещены ещё около двадцати человек петроградских рабочих и интеллигенции – административно высланных, во главе с товарищем Евдокимовым. К нам в серых шинелях, к каторжанам, «административная» петроградская молодёжь

отнеслась свысока и с недоверием, тем более, что мы ехали с большим запасом сухарей и сахару, и часть из них попросили нас уступить им места на наших скамейках, и, получив отказ, они пренебрежительно отошли, даже не спросив, почему мы отказали им в этой любезности. Однако товарищ Евдокимов подошёл к нам побеседовать, и мы быстро поняли друг друга.

Беседа не успела развернуться, как ещё в наш вагон втиснули новых заключённых и конвой предложил нам усесться поплотнее. Мы отказались и на его угрозы попросили не угрожать и не пугать нас, так как мы не из трусливого десятка и заявляем, что сидя не поедим и что разместить он, конвой, должен нас в арестантском вагоне с расчётом, чтобы у каждого была скамейка для ночёвки. Вызвали ефрейтора, с тем повторился тот же разговор, с унтер-офицером тоже, и наконец с криком и шумом вкатился молоденький офицеришка, который, то вытаскивая шашку, то хватаясь за револьвер, петушился, орал на весь вагон, что зарубит и застрелит, и на моё замечание «Смелости не хватит, не захотите в тюрьме сидеть» крикнул унтеру:

– Заковать в кандалы.

В один голос мы заявили:

– Нам не привыкать, за то, что не дали арестантские вагоны, мы при смене конвоя заявим.

Он ушёл, хлопнув дверью, за ним и унтер, а когда через несколько минут явился унтер, он заговорил более мягким

тоном, что в кандалы, конечно, он никого не закуёт, что офицер с нами не поедет, что нам доехать только до Вологды, а там мы будем размещены как следует и что конвой вообще хороший и притеснять нас не будет. Так, правда, и оказалось, но этот инцидент нас сблизил с петроградским молодняком, для которых подобные сцены, за исключением товарища Евдокимова, были новы и невиданны, и не пережиты, а мы их испытывали за долгие годы каторги и не раз, и не два. В Вологде нас перевели в просторные вагоны.

Не успел поезд тронуться, как наши петроградцы, которые питались коммуной, о чём-то поспорили, оказалось, «низвергли» своего артельного старосту. Слышалась среди разговоров и шума моя фамилия, подозвали меня и заявили, что выставляется моя кандидатура на старосту. Я ответил, что кормить так их не могу и не буду, как они кормились до Вологды, когда им родные передали всякую чепуху: курятину, колбасу, селёдки, сыр и прочее, с каковыми запасами до Сибири не доедешь, и, кроме того, я никому не буду выдавать то, что он захочет, а то, что будет, что есть, и что единственно, на чём я не намерен экономить, это на хлебе и сухарях. Однако привыкшие требовать кто что хочет всё же меня единогласно избрали в старосты, каковым я пробыл до Красноярска, где мы с ними расстались.

Будучи избран старостой, подсчитал денежные ресурсы – не помню, сколько их было, но очень немного, плюс на всех двадцатерых человек около пуда сахару и несколько хлеба. У

нас же, каторжан, сахару оказалось сорок пять фунтов, да сухарей пуда полтора. Приходилось ухищряться при закупках. Конвой при смене имел привычку набрать пуда два-три, а то и больше с собой чёрного и белого хлеба, а затем по двойной цене продавать, я же, имея запас сухарей при двадцати трёх членах коммуны, не покупал или закупал пару буханок, чтобы к следующей смене, когда конвою придётся уходить со своим дорогим хлебом, купить всё или по себестоимости, или с надбавкой полкопейки-копейка на фунт. Этот номер у меня прошёл всю дорогу, и ребят хлебом кормил вдоволь, с маслом и колбасой изредка, с чаем, сахаром по три-четыре раза в сутки, только махоркой и папиросами сугубо экономил. В дороге до Красноярска ничего особенного не случилось: ехали, пели песни, толковали о политике, а иногда увлекались и анекдотами.

В Красноярск прибыли ночью и были размещены в этапный барак, кажется, на двести пятьдесят – триста пятьдесят человек. Барак кишмя кишел уголовными, встретил и своих сопроцессников. Атмосфера была такова в бараке, что вот у тебя отберут и стащат последние брюки, хотя бы казённые. Двух при нас избили, с одного из китайцев стянули казённую рубашку, а с высланного за подозрение в шпионаже – всё бельё и десять рублей денег. Надо было вооружаться, так как часть уголовной шпаны обхаживала нары как шакалы, высматривая, что ночью можно будет забрать. Так как выпускали самих на кухню за кипятком, мы с сопроцессником

товарищем Спрогисом отправились достать хотя бы по куску кирпича, чтобы в случае нападения было чем орудовать. Достав таковые, свернули в двух чулках и завели разговор на тему, что если не будут возвращены вещи, только что отобранные, то после проверки кое-кому влетит. Походили, пошатались, подходили к нам с расспросами, наши ли знакомые обобранные, и, получив ответ, что безразлично, что хулиганить не позволим, а так как нас, политических, с нами прибывшими набралось около пятидесяти человек, довольно солидная сила, через некоторое время кто-то потихонечку всё обобранное сложил в кучу к дверям. Правда, мне и ряду других каторжан не пришлось ночевать в Красноярске, и мы, поделив с петроградцами остатки артельных денег, в ту же ночь были отправлены дальше в Иркутск, не знаю — как остальные ребята провели ту ночь в Красноярске.

Дорога на Иркутск, кроме как пейзажами, ничем не отличалась от проезда до Красноярска, если не считать то обстоятельство, что нас стали заедать паразиты (вши), благодаря которым, не стесняясь друг друга, мы имели и утренние, и дневные, и вечерние занятия, производя на них походы и беспощадно уничтожая их. Наши усилия были, однако, тщетны, так как чистого белья не хватало, стирать было его негде, да и стирка не помогала, раз сами были облеплены пылью и грязью. Такая же история была у женщин, ехавших с нами в одном вагоне, отгороженных специальной проволочной сеткой.

Правда, эта сеть была, может быть, излишняя, имея в виду истощённость как тех, так и других – с одной стороны и стремление каждого к одной цели – к свободе – с другой. Но всё же эта предосторожность, пожалуй, была не излишняя, тем более, что с нами ехали уголовники и за сетью тоже ряд уголовниц, да кроме того, при предыдущих этапах во время следствия и после суда приходилось наблюдать, когда возили без этих клеток женщин и мужчин вместе, что по ночам уголовники и уголовницы вместе с конвоем доводили свои половые чувства до оргий, и были нередки случаи участия в них политзаключённых мужчин и женщин, особенно последних. Но оставим это, я не писатель и не романист и это лишь свои беглые воспоминания, так, как умею, и вкратце – поверхностно, лишь бы дать некоторые штрихи, которые я и многие тысячи из нас пережили за те долгие, томительные годы каторги, куда меня и моих товарищей загнала царско-помещичья власть.

С каждым днём и часом мы приближались к Иркутску, и каждый из нас знал, что Иркутск – это последняя тюрьма, а за ним уже воля, воля хотя и в далёкой Сибири, в далёкой тайге, но всё же воля. Нам было известно, что из Иркутска мы уже пойдём пешком или на подводах через деревни, где увидим живых людей воли, услышим, как они живут, каково их настроение. Правда, мы знали, что многие и многие, пока будут доставлены до места назначения, ещё пройдут сотни вёрст, но что значат сотни вёрст после десяти-одиннадца-

ти лет каторги. Мы понимали и то, что ссылка – это ещё не настоящая воля, что там мы будем под наблюдением полицейского ока, будем иметь лишь небольшой район «на право жительства», но всё же «жительства» не за решёткой, и что иногда можно затуманить и полицейское око и бежать в Россию, бежать для подпольной работы. Некоторые из отправляющихся со мной в Сибирь мечтали о загранице, но это были счастливики с состоятельными родными и их друзьями; так как партийная организация могла немногих снабжать деньгами для побега за границу, а у моих родных и алтына не было, следовательно, я об этом не думал.

Приближался Иркутск, предполагалось, что, пока определят место жительства и оформят отправку, пройдёт не больше недели, а через неделю уже будем ехать или идти к месту своего назначения.

По прибытии в Иркутск нас отвели в пересыльную тюрьму, разместили в огромной камере с нарами, грязной, полной клопов и всякой паразитской нечисти, и, выстроив в один конец, выкрикали, то есть стали принимать по документам: Петров, Иванов и так далее, как звать, куда идёшь?

– Куда идёшь?

– Куда отправят!

Окончив с приёмом, ещё раз выстроили уже в другой конец камеры, и старший надзиратель прошёлся по рядам, внимательно разглядывая каждого и то и дело выкрикивая:

– Как фамилия? Выходи вперёд.

Так с выходом вперёд набрали семнадцать человек, в том числе и меня. Что с нами будет? Почему вызвали? Вот вопрос, который волновал каждого из нас. Недолго продолжалось наше томительное раздумье с этими вопросами, так как раздалась команда:

– Направо, вперёд марш.

Нас повели через дворы и поместили в отдельную комнату. На все наши вопросы был один ответ:

– Завтра узнаете, почему вас перевели сюда.

Опять незнание, опять тревога, что значит – будет завтра, ведь кончился же срок. Да неужели ещё будут держать нас взаперти? Не помню, хлеба, кажется, нам не дали, дескать, не зачислены на паёк, дали только кипятку, а обед обещали дать, если останется. Кипятку мы попросили лишний медный чайничек и тут же, сняв с себя бельё, погрузили в раковину (умывальник) и ошпарили кипятком, дабы избавиться от паразитов, и стали стирать по очереди с оставшимися с дороги кусочками мыла. Необходимо оговориться, что, как правило, мыло с собой на этап не давали, так как в каждом этапе попадались каторжане, не окончившие срока и направляющиеся из одной тюрьмы в другую в кандалах, не давали потому, что иногда, натерев хорошо ноги мылом, при известных усилиях, при боли, можно было снять кандалы, что облегчало побег.

Вернёмся к стирке. Не успели мы развернуть своё прачечное дело, как надзиратель, постучав ключом о решётку, пре-

дупредил, что в камере стирать «не полагается». Все наши доводы, что нас заели паразиты, ни к чему не привели, и мы должны были, кое-как выполоскав под краном уже намоченное бельё, прекратить это дело. С надзирателем мы завели разговор – зачем нас отделили от всего этапа и привели в эту камеру и что завтра с нами будет? Старичок-надзиратель, видно, не из строгих, ответил, что это рабочий корпус и что, по всей вероятности, нас завтра отправят куда-нибудь на работу. На наши изумления и рассуждения, что мы кончили срок каторги и что никто не имеет права нас больше посылать на работу, надзиратель с усмешкой ответил:

– Вы лишены всех прав, и с вами здесь считаться не будут, а вздумаете вольничать – в карцер, ещё вольничать, ну и понятно, не скоро увидите тайгу. – Да и говорит дальше: – Вамто и торопиться некуда, в тайге не лучше, ежели попадёте к хорошему чалдону на работу – это другое дело, в противном случае все с голоду сдохнете.

Повернулся и ушёл. В самом деле, рассуждали мы, задержат, будут издеваться, кто тут узнает, да если и общественное мнение заволнуется, так от центра далеко, да и заступиться некому.

Судили-рядили, как быть, да и порешили, что добровольно на работы никто из нас не пойдёт. Благо оказалось, что все семнадцать человек – политические, и, как видно, ребята стойкие.

С нетерпеньем ждали обеда, остатки оказались, и за де-

вять-одиннадцать дней пути впервые имели возможность похлебать хотя неважную, но всё же горячую пищу. После обеда занялись борьбой с паразитами, и так до вечера, до вечерней проверки.

На проверке заявили дежурному помощнику начальника, что нас заели паразиты, требовали мыло и бани, а также спросили, зачем мы здесь, в рабочем корпусе. Дежурный с насмешкой ответил, что в баню попадём, когда придёт очередь, что там и мыло дадут, а что касается рабочего корпуса, так, мол, даром казённый хлеб не едят. Повернулся и ушёл.

Хотя нас и не обрадовали ничем, да и паразиты покою не давали, казалось, как будто они из тела вырастают, но после долгого путешествия мы с наслаждением проспали до утра на нарах.

После утренней проверки нам выдали хлеб и кипяток, а затем через час явилось четыре надзирателя, отперли решётчатую дверь и сказали:

– Выходи на работу.

На наш ответ, что мы кончили срок и ни на какую работу не пойдём, стали кричать и угрожать. Глядя, что угрозы не помогают, трое из них вошли в камеру, а четвёртый с дежурным по отделению надзирателем остались у дверей. Нас проповали тащить силой, но, видя, что этого мы не позволяем, причём мы пригрозили руками нас не трогать, они отстали, отошли и велели коридорному надзирателю вызвать дежурного старшего. Последний не заставил себя ждать. Доложив,

в чём дело, пришедшие за нами со словами «Прикажете выставить?» ждали распоряжений.

Выстроив нас в ряд и поглумившись над нами, старший приказал:

– Выставить.

Сейчас, начиная с краю, трое из надзирателей брали нас по очереди, двое за руки сбоку, а третий, схватив за шиворот и брюки, стали нас «выставлять». Какое-либо сопротивление здесь было немыслимо, а устные протесты, каждому из читателей понятно, ни к чему не привели. Выставив всех семнадцать человек на коридор, с нас стали снимать верхнюю, выданную в Петроградской пересыльной тюрьме новую казённую одежду и обувь, оставив так довольно продолжительное время в рубашках и кальсонах, голыми ногами на полу, после чего принесли нам рвань одежду и такую же рвань обувь и впустили обратно в камеру. Обед выдали, а на вечерней проверке дежурный помощник начальника тюрьмы заявил:

– Не хотите идти работать?

И получив единодушный ответ, что не пойдём, заявил:

– Ну что ж, мы вас здесь и помаринуем.

Так продолжалось восемь суток. Ежедневно после проверки нам выдавали хлеб, соль и кипяток, потом приходило четыре-пять надзирателей, нас «выставляли» на коридор, выдерживали там, а потом запирали камеры и тому подобное.

Положение стало невыносимо тяжёлым не потому, что нас «выставляли» и «выстаивали» не потому, что нас не пуска-

ли на прогулку не потому, что нас не отправляли к месту назначения, несмотря на окончание срока, но потому, что нам не давали баню и нас заедали вши. Трудно и невероятно будет представить читателю, что вши нас заели до того, что всё тело у каждого из нас казалось покрытым мелкой сыпью и чесалось, однако это была не сыпь, не чесотка, а самое безобразное заедание вшей.

Моральное состояние? Да этого не опишешь. Оно было в тысячу раз хуже, нежели тогда, когда нас пороли бы розгами. Никаким требованиям дать врача, никаким требованиям явиться начальнику, никаким требованиям дать бумаги для заявлений не вняли. Кроме того, к нам посадили с первого же дня, кажется, трёх уголовных, наверное, чтобы знать, о чём мы толкуем, какие наши планы. Правда, они у нас не пробыли и суток – мы предложили им убраться, а когда они дерзко заявили, что не пойдут, мы им намяли бока и предупредили, что это цветочки, а ягодки будут впереди. Пробовали грозить карцером, но что значит карцер, когда и так морально мы были убиты, однако уголовных убрали.

После восьмого зашвыривания мы, обсудив создавшееся положение, решили на девятые сутки отправить одного «разведчика» на работы и в зависимости от того, какая будет работа и какое питание, решить вопрос – идти или нет, и на следующее утро об этом заявили дежурному. Дежурный помощник, видно, обрадовался и согласился послать его на работу, прибавив:

– Может, завтра и остальные надумают.

Со скрежетом зубов мы молча выслушали эту насмешку, но наше положение было безвыходное, единственное средство было у нас – это объявить голодовку, но объявить голодовку – значило по истечении десяти-одиннадцати лет каторги, когда воля близка, лишиться жизни, не принося этим никому пользы, не довести же голодовки до конца – значило лишиться этого средства борьбы для других всякого значения. Может быть, так и следовало поступить и с первого же дня решить приступить к голодовке, однако в этом вопросе у нас не было единодушия.

Товарищ, которого выделили на работу, был взят, и мы с нетерпением ждали его возвращения. Вернулся он вечером. Мы обступили его и слушали его рассказ. Оказалось, что он ходил на работу на выгрузку товаров из вагонов на станции Иркутск-товарная, что идти туда восемь вёрст, что работают артелями по пять-шесть человек при одном надзирателе, что когда нет работы – не поданы вагоны для выгрузки, отдыхают в рядом расположенном бараке, что обед хороший, хлеба на обед и супу дают много и что мяса хватает, единственно, что плохо, это идти с уголовными, что они вместе с надзирателем воруют товары, вечером на обратном пути по дешёвке продают лавочникам и делятся с надзирателями.

Взвесив все «за» и «против», решили, что идём работать, наутро заявив об этом – начальство обрадовалось достигнутой «победой». Мы стали ходить на работу, и тут в одном из

перерывов, находясь в бараке, узнав, что в этой же ограде поблизости имеется аптека, я ускользнул из барака, не считаясь с последствиями, направился туда, чтобы, если и надо, протянуть руку как за милостыней, может быть, у своего врага попросить для нас всех зелёное мыло. В аптеке я встретил молодую женщину и заявил, что я политический каторжанин и что над нами, семнадцатью человеками, издеваются, что нас заедают вши и мы просим, умоляем дать нам это мыло, причём добавил, что денег у нас нет. Женщина подошла ко мне, внимательно посмотрев в глаза, как бы спрашивая, не вру ли я, велела расстегнуть рубашку и, внимательно осмотрев грудь, шею и руки, со словами «Сейчас» повернулась и вышла в соседнюю комнату, откуда через несколько минут появилась с рыжим, выше среднего роста женщиной. Тот, ещё раз оглядев меня и отвечая на какие-то доводы женщине, заявил:

– Да нет никакой сыпи, это действительно его заела стаявшей. Разузнав, кто я, по какому делу судился и прочее, и узнав, что я по «Руенскому» делу, заинтересовался о соучастниках, заявил, что он фельдшер, тоже бывший политзаключённый, высланный, вот в настоящее время работает здесь и что его фамилия Старк. Я припомнил такую фамилию по заключению в Пскове или Риге, и мы разговорились о нашем тяжёлом положении, причём он указал, что в Иркутске имеется наш Красный Крест и что он сегодня обо всём доложит, и что будут приняты все меры по ускорению на-

шей отправки и «устройства» нам передачи (продуктов), и тут же дал мне две изрядные порции зелёного мыла. Увлёкшись разговором как я, так и он, мы забыли, что в случае выхода всех из барака на выгрузку по счёту начнутся поиски, перекличка и я попаду в лучшем под порку, а в худшем будут судить за попытку к побегу и сиди тогда ещё годов четыре-шесть. Вспомнив об этом, я устремился в барак. В бараке, кроме повара – старика уголовного, никого уже не было, и последний мне посоветовал стремглав броситься к вагонам, под ними добраться до цейхгаузов, а там, мол, и сам увидишь, что я и сделал. Запыхавшись, добрался до своей артели, и тут мои товарищи сообщили, что моё отсутствие обнаружено, идёт уже перекличка по всем артелям, чтобы установить, кто именно пропал. Выгрузка была приостановлена, и заключённые стояли в распломбированных с товарами вагонах, ожидая переклички. До нашей артели очередь не дошла, а так как по утрам надзиратели набирали артели и расписывались не по фамилиям взятых, а по количеству, то каждый из них был бы рад иметь перебежчика из другой артели, лишь бы количественно цифра его сошлась. Наш надзиратель, видно, нервничал, он знал, что у него количественно не хватает одного, знал и то, что и он пойдёт под суд за это, и как будто ждал, что я не убежал и убежать было некуда, ибо товарная станция была окружена высоким забором и, кроме того, имея военное время, охранялась не только в проходе, но и вдоль забора. Как я пролез в вагон, он не за-

метил. Немного отдохнув, я стал подавать признаки, что я тут и что у нас все в сборе, и почему мы не приступаем к выгрузке. По лицу надзирателя прошла и радость, и злоба, и, поманив рукой к себе, он шёпотом спросил:

– Где ты был, мерзавец? – И добавил: – Если бы меня не выгнали за то, что ты пропал, то я бы заявил, что это ты, которого искали, ищут и из-за которого идёт перекличка, и с тебя девять шкур содрали бы.

Подошла очередь и до переклички нашей артели, и уже до переклички надзиратель крикнул небрежно навстречу старшему:

– У меня все, господин старший.

Когда перекличка кончилась, все удивились, как это так получилось, что то одного не хватало, то оказалось – все. Об этом судили и рядили и в обеденный перерыв, и заключённые, и надзиратели между собой решили, что выпускающий у дверей надзиратель «обчёлся». Пока все спорили, я подошёл к старику-повару и попросил его молчать, ибо только он и все наши ребята знали, в чём дело.

Почему не сразу было обнаружено моё отсутствие, спросит читатель. Вот почему. На выгрузку из барака выходили не все сразу, вследствие чего считающий у дверей по счёту выпущенных заключённых мог только сказать, что одного не хватает, тогда, когда уже вышла последняя артель, а последние три артели были мы – политические, так как уголовных выпускали в первую очередь, ибо от них и зарабо-

ток был главным образом надзирателям, от наворованного, в тюрьме от заработанного, тем более, что уголовники «спешили работать», лишь бы добраться до большего количества таких вагонов, где можно было воровать: сено, овёс, рожь и прочее они не любили грузить, зато любили грузить чай, сахар, масло, мануфактуру, словом, галантерейные товары и мясо-жировую продукцию.

Вернёмся ещё на минуту к разговорам о переключке. Когда было решено, что ошибся подсчитывающий выходящих из барака, надзиратель старший грозно обратился к нему:

– Ты у меня смотри, загною в тюрьме, если повторится. Хорошо, что я ещё не сообщил в тюрьму. А то сам бы впросак, все ромбы бы сняли, – и с облегчением прибавил: – Если не выгнали б...

Что думал и переживал наш надзиратель, трудно было угадать, но мои товарищи и тем более я были рады, что всё обошлось благополучно и что у нас есть зелёное мыло, и мы теперь получим возможность умыться, а при первой бане, которую нам уже обещали, и помыться как следует, а так как в бане дадут и чистое бельё, вернее, тряпьё, можно пропариться – значит скоро-скоро избавимся от паразитов – вшей. Мы от радости готовы были кричать, но не смели и виду показать.

Как происходили покражи уголовниками?

Вагоны вскрывали железнодорожные служащие (пакгаузники), затем начиналась выгрузка с переносом в склады, где

приёмщик принимал по весу или количеству тары (ящиков, банок, бидонов и прочее), если таковая цела. Если нет, проверялось, подсчитывалось и взвешивалось, смотря какой товар. Уголовники, забравшись в вагон для начала выгрузки, стремились в первую голову к тем товарам, которые им были нужны. Если это был сахар-песок, то в мешок втыкалась трубочка, по которой сахар сам тёк в карман или мешочки, если рафинад пилёный, мешок прорывался и из каждого мешка брали немного, чтобы незаметно было. Если это были папиросы, разбивали «нечаянно» ящики, брали сколько хотели, рыбу брали лучшую, мясо – обивали всю рёберную часть и так далее, раз даже пропала двухпудовая банка с кокосовым маслом. К концу разгрузки вагона при обнаружении недостачи составляли акт о недостаче, и на этом дело кончалось.

Как доставляли всё это, я бы сказал, награбленное через ограду? Через привозящих в барак для обеда продукты или вечером прямо в ворота. Продавали потом и, как я уже сказал, деньги делили с надзирателями «по-христиански». Когда однажды мы пытались обратить внимание весовщика на это, он, отмахиваясь как бы от лукавых, заявил:

– Что вы, что вы, да разве Семён Никитич, Иван Фёдорович и прочие что-либо подобного позволят, я их сколько лет знаю, да что им, служба не дорога, что ли? – И на вопрос, откуда же эти недостачи, всегда отвечал: – А бог их знает.

Отсюда ясно, что и железнодорожные служивые участвовали в воровстве и в дележах.

Так проходили дни. В баню нас пустили. От вшей не полностью избавились и представителей Красного Креста не видели. В первых же числах февраля нам объявили, что скоро нас отправят. И действительно, стали вызывать одного за другим и отправили уже к числу четвёртого-пятого февраля, а меня перевели в другую камеру. На мой вопрос, почему меня не отправляют, последовал ответ: «Не знаем, не имеем распоряжений».

Будучи переведён в другую камеру, я попал туда, где сидели те три уголовника, которым мы намяли бока. Со злорадными возгласами «Ааа, к нам попал» встретили они меня. Из дальнейших разговоров видно было, что здесь, в иркутской тюрьме, ещё не изжито «ивановство» и что в этой камере Иваны заправляют всем. Надо было выяснить, в случае потасовки могут поддержать меня люди, случайно попавшие в уголовники и подавленные Иванами, требовать перевода в другую камеру, или же спокойно принять их издевательства. Выдержав спокойно нападки Иванов, я строго отвечал на все их выпады по адресу меня и политических вообще. Самоуверенно и внушительно заметил, что если пока им только бока намяли, то они могут остаться и без рёбер, и с разбитыми черепами. Когда они вскочили с мест и приблизились ко мне с угрозами, я взял в руки только свой, внушительного размера эмалированный чайник и, зная, что это хулиганьё храбро только тогда, когда их боятся, а трусят, когда голова находится под опаской быть разбитой, спокойно сказал:

– Не советую подходить.

Моё спокойствие их затревожило, они, покричав и пустив по моему поводу кучу угроз, отстали.

На следующий день я должен был идти с ними вместе на выгрузку, но вечером выяснилось, что жители этой камеры разбились на две группы, причём большая группа оказалась на моей стороне. Выйдя следующим утром на работу, я попал в артель, где был один из них. Мы должны были погрузить военные разобранные двуколки на платформу. Когда кончили перекладку досками и приступили к погрузке последнего ряда, «Иван», который всё время держался неподалёку, ударил меня кулаком по виску. Предвидя подобные возможные неожиданности, я успел ухватиться за боковую доску, чем скреплялось погруженное, и в силу этого не упал. Оглянувшись, я увидел, что кто-то схватил моего врага за шиворот и брюки и со всей силой сбросил его из вагона. Сейчас же по распоряжению надзирателя была приостановлена работа и началось выяснение. У сброшенного «Ивана» голова оказалось разбитой, нас всех сняли с работы и направили в тюрьму, и, выяснив ещё там все обстоятельства дела, моего спасителя направили в карцер, а «Ивана» – в околосодок. Мой спаситель оказался сокамерником – уголовным, над которым, как и над всеми, эти трое «Иванов» издевались. Вечером вернулись и остальные, но уже двух других «Иванов» к нам не пустили, взяли и их вещи – оказалось, что они трусили и попросили их перевести в другую камеру.

Кажется, через день, числа седьмого или восьмого февраля 1917 года, вызвали меня в контору, объявили, что я направляюсь в Верхоленский уезд, село Знаменка, Иркутской губернии до дальнейших распоряжений.

Если не ошибаюсь, этап составил из пятидесяти-шестидесяти человек при двадцати пяти-тридцати конвойных, среди нас было восемь женщин. По команде «Шашки вон, шагом марш» тронулись в дорогу. Сколько было радости, сознавая, что тюрьма, каторга остаётся позади, что идёшь к вольной жизни, к лучшим дням. Предполагалось пройти пешком за день тридцать-тридцать пять вёрст (а там без конвоя, уже на подводах, при охране сельской и волостной (девятская и прочее)). По дороге выяснилось, что среди мужчин имеется всего четыре политических и такое же число среди женщин, затем изрядное количество мужчин, административно высланных за подозрение в шпионаже, причём последние прекрасно одеты и снабжены всякими «съедобным», бельём и прочим, среди оставшихся женщин две «шпионки», причём одна из них молодая и довольно миловидная. Так же по выходе за пределы города Иркутска правило идти в ряды не соблюдалось, и можно было как попало, лишь бы идти, это позволяло, хотя бы поверхностно, познакомиться со всем этапом. Конвой ходил с боков. Впереди и сзади. А за ним тянулись подводы со съестным и вещами. Многие уже на восьмой-десятой версте стали уставать, просили подводы, но конвой тут не был так щедр и допускал сесть того или дру-

гого на подводу только тогда, когда видел, что действительно он больше не был в состоянии ходить. На пятнадцатой-семнадцатой версте сделали привал и нам выдали по фунту белого хлеба и куску колбасы, кое у кого были и свои продукты, в том числе у меня, так как я получил деньги, заработанные на погрузке.

Поели. Отдохнули, тронулись дальше и к вечеру прибыли в так называемую «каталажку» (тоже что-то вроде тюрьмы, обнесённой высоким частоколом из брёвен, но с той разницей, что запираются лишь ворота), более благонадёжных пуסקали здесь и на вольные квартиры.

По дороге выяснилось, что уголовники собираются ночью кое-кого обобрать да поиздеваться над женщинами, так как всех помещают в одном помещении по разным комнатам, при открытых дверях, причём внутри никакой стражи не имеется. Для лёгкости своих проделок они занимают все нары – кому не хватает места, те должны были спать на полу или под нарами, им мешают спать до изнурения, а там уже они господ положения. Посоветовавшись между собой, решили: если не удастся добиться наших женщин отправить на вольные квартиры, то нужно будет занять ряд мест на нарах, а чтобы их захватить, придётся перехитрить уголовных, держаться самостоятельно и настойчиво, не избегая никакой защиты, лишь бы получить положение, при котором уголовники не посмели бы нас трогать. Как только нас пустили в каталажку, я вбежал вместе с другими в комнаты, кинув че-

рез головы находящихся впереди меня уголовных, устремившихся к нарам, свою котомку в угол нар и крикнул:

– Восемь мест.

Кругом раздался хохот и возгласы:

– Ай да парень, перехитрил.

Поясняю: у уголовных, по традиции, существовал такой обычай, если при этапе в этапное помещение он, не добравшись сам до нар, кинул туда свою шапку или вообще вещь и при этом назвал количество мест, то уже никто другой эти места не занимает. Я об этом знал и неожиданно для них их же «обычаем» их перехитрил. Устроившись в ряд, мы решили, что, прежде чем думать об еде и кипятке, я иду на «разведку» по поводу размещения женщин вне каталажки, чего мне и удалось добиться у надзирателя. Денег у нас у всех было понемногу, у меня, в частности, в фотографии матери кабинетного порядка, а у других – у кого где, где деньги береглись при наихудших условиях во всей дороге на последний этап и первые дни пропитания.

Ночь, при небольших скандалах, прошла сравнительно благополучно, и к утру оказались обокраденными только два «шпиона» и двое уголовных сбежало. Часть уголовников, как выяснилось утром, ещё вечером оставлены в этом же селе. Подали подводы, и мы тронулись в путь несмотря на то, что всё ещё нас заедали вши, почёсываясь, ехали весело, был сильный мороз. На следующей остановке опять часть уголовников была оставлена, а нам с бою удалось в каталажку не

идти и разместиться в крестьянской хате.

Нужно сказать, что сибирский крестьянин-чалдон любит чистоту в своей хате и любит свет, поэтому если его хата не будет раз-два в месяц побелена или, если стены бревенчатые, не вытерты изнутри водой и песком, то его уже считают грязнулей, причём всё это делает женщина, сам он не особенно любит по хозяйству ходить. На этой остановке к нам напросились в спутники «шпионки», на что мы им и не отказывали, но, к сожалению, молодая их вечером за чаем и закокетничала со мной, а одна из наших партиек заревновала, и вышел небольшой инцидент, хотя потом всё удалось уладить.

На следующий день мы продолжали свой путь и на каждой остановке всё снова и снова оставляли позади себя тех, кто был намечен в ту или иную деревню. Уголовники обнаглели до того, что не только обобрали всех «шпионов», но стали отбирать друг у друга последние полушубки. К себе мы их не подпускали и обошлись без потерь.

На одной из станций с нашими девицами произошёл следующий инцидент. Меня окончательно заели вши, и, узнав у чалдона, что у него истоплена баня, я попросил его пустить нас помыться, что он с удовольствием, как гостеприимный хозяин разрешил; помывшись, я выстирал там всё своё бельё и вернулся из бани лишь в верхней одежде, оставив бельё там сушиться. За нами пошли мыться наши девицы и, узнав у хозяйки, что я пошёл в избу совершенно без белья, тут же обсудили, как быть. Самая молодая из них предложила, так

как её рубашки короткие, хотя и без рукавов, то, пожалуй, подошли бы. Сначала было решили эту находку провести в жизнь, но потом посчитали, что это неудобно, да и ни одна и не попыталась брать на себя такую смелость – предложить.

За вечерним чаем наши девицы всё переглядывались, хихикали и то лукаво улыбались, то краснели, когда, наконец, одна не выдержала и сказала:

– Товарищ Рейн, вот Вера наша хочет предложить вам свою рубашку, да постеснялась.

Все захохотали, а Вера смутилась и выбежала из избы на улицу, мы за ней, а она от нас по улице, насилу поймали и притащили, совсем смущённую и сердитую, обратно и чуть-чуть из-за этого после бани не простудились.

Дальнейший путь прошёл без особых приключений, чем дальше, тем нас стало меньше, отстали «шпионы», «шпионки», отстали и наши девицы, отстали и остальные товарищи, и уж в Знаменку мы поехали лишь пятеро – двое политических и трое уголовных.

В Знаменку мы прибыли восемнадцатого ноября 1917 года, пройдя и проехав триста восемьдесят вёрст от Иркутска и вообще от железнодорожных путей сообщения.

Прибыв в волостное управление, подводы въехали во двор и тут же моментально все мои спутники, как уголовные, так и политические, рассыпались врассыпную. Предполагая, что они зашли в волостное управление, я тоже направился туда и обратился к первому попавшемуся делопроизводителю с

вопросом:

– Какое будет дальнейшее распоряжение?

Он удивлённо посмотрел на меня и ответил:

– Идите себе на четыре стороны.

Такой ответ меня крайне удивил, ибо каждый из сотрудников волостного управления прекрасно знал, что нас не сопровождали денежные суммы, что квартиры мы не имеем и, следовательно, ночевать на улице не представляется никакой возможности. Единственно, на что я надеялся, это то, что по имеющимся у меня сведениям в селе Знаменка проживает один из моих сопроцессников, товарищ Цирюля. Выйдя из волостного управления, я зашёл в кооперацию, где, предполагал, этого Цирюлю должны знать, ибо мне было известно, что в сибирских кооперативах служит большинство бывших политзаключённых. Спросив, не знают ли они, имеется ли такой товарищ, я получил ответ и указание, где такой товарищ проживает. Направившись на боковую улицу, на которую мне указали, и, спросив нескольких встречных, наконец я добрался до дома, в котором должен проживать товарищ Цирюля.

Войдя и поздоровавшись с хозяйкой, которую я по акценту разговора узнал, как мою землячку-латышку, я осведомился – проживает ли здесь мой товарищ, и, получив утвердительный ответ, объяснил, кто я и откуда. Сейчас же хозяйка дома, которая оказалась женой товарища Цирюли, попросила меня раздеться и в первую голову предложила мне бе-

льё и верхнюю одежду своего мужа, предложила совершенно снять всё находящееся на мне, ибо она тоже, как видно, прошла этот этап, в котором каждого из нас поедали вши. После переодевания всё это сложили в кучу и, завязав в простыню, вынесли для безопасности во двор на снег. Товарища моего дома не было, ибо он уехал в лес за дровами.

Осведомившись о житье-бытье, я понял, что надеяться на какую-нибудь работу в данном селе не приходится, а если какая-нибудь работа перепадёт, то это лишь у чалдона, которая оплачивается недостаточно, пища в чалдонской семье не из важных, и таким образом приходится жить или тем, что заниматься рубкой леса, как многие другие заключённые, и весной продавать его тем же чалдонам, или жить на присылаемые от родных и знакомых деньги.

Этот вопрос меня не пугал, не пугал по той простой причине, что я, отправляясь из Шлиссельбургской крепости в Сибирь, имел договорённость с начальником тюрьмы о том, что остающиеся там мои так называемые неприкасаемые деньги будут переведены не вдогонку со мной, а по телеграфному извещению о моём местонахождении. Это обстоятельство, которое я придумал ещё в Шлиссельбургской каторжной тюрьме, дало мне полную гарантию и возможность прожить несколько месяцев совершенно беззаботно и поправиться, ибо я имел там сто двадцать девять рублей тридцать копеек, проживание, как выяснилось впоследствии, при самых худших условиях в селе Знаменка в месяц обходилось

от двадцати пяти до тридцати рублей.

К вечеру вернулся мой товарищ и сопроцессник. Из разговора с ним выяснилось, что он уже в селе Знаменка успел обзавестись своим хозяйством: арендовав за четыре рубля в месяц целый дом у чалдона-хозяина, с четырьмя комнатами, с передней и кухней, он устроился великолепно, кроме того, имел две лошади и корову и сдавал одну комнату политическому заключённому. Правда, он уже находился в селе Знаменке около четырёх лет, но тем не менее такое обзаведение хозяйством меня убедило. На мои вопросы и расспросы он ответил, что иначе бы здесь умер с голоду.

Однако впоследствии, в тот же вечер, когда вернулись другие политические заключённые, которые у него находились на квартире и столовались, я выяснил, что мой сопроцессник превратился в настоящего живодёра-спекулянта, что, арендовав у чалдона дом за четыре рубля в месяц, в то же самое время он с каждого проживающего в одной комнате, а их было трое, брал по два рубля и, кроме того, брал за харчи больше в два раза, чем это обошлось бы тогда, когда каждый из них ел бы самостоятельно, однако не желая завестись новыми семьями, а также не имея возможности использовать местных чалдонов для варки пищи, как не привыкшие к чалдонской еде, товарищи принуждены были переплачивать моему бывшему сопроцесснику. И вот от этих переплат постепенно он обрастал и превращался в деревенского кулачка, заготавливая сам и скупая у других бывших

политзаключённых заготовленные ими в лесу дрова, привозя их на своих лошадях, продавал и на этом наживал себе деньги. Всё это печально, печально тем более, что он участвовал в нашем процессе и что его жена тоже являлась политзаключённой, однако увещевать и агитировать его было бы бессмысленно.

Переговорив с остальными товарищами и узнав, что перейти на другую квартиру, столоваться у чалдона тоже не совсем выгодно, я решил тут же, что остаюсь здесь. Сходив предварительно на почту, сдав телеграмму начальнику Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, чтобы оставшиеся деньги были переведены мне, на завтра был принуждён договориться с бывшим моим сопроцессником, что он берёт меня на своё иждивение, что отпускает, до получения мною денег, всё в долг, покупает всё необходимое: бельё, одежду, прочее. На всё это он, конечно, зная меня, согласился, но он и тут видел свои барыши и прибыли. Правда, я попытался обсудить с ним на эту тему, но он отговаривался обыкновенной фразой:

– Каждый борется за своё существование.

После этого у нас всякие товарищеские отношения прекратились и я стал проживать на таких же условиях и правах, как и трое остальных у него, платили как постороннему хозяину-эксплуататору всё то, что с нас требовали, и брали всё то у него, без чего мы не могли обойтись.

Так как делать было нечего, то с первого дня я, взяв у то-

варища ружьё, отправился на охоту. Однако в охоте я был разочарован. Ещё до поездки в Сибирь, из разговоров с товарищами и чтения книг, вообще Сибирь и в частности Иркутская губерния мне представлялась изобилующей зверьём и дичью. Однако каково же было моё удивление, когда в первый день, поднявшись до десяти вёрст в горы и пройдя туда и обратно более двадцати вёрст, я по всей дороге, и то на далёком расстоянии, увидел лишь пять рябчиков. В последующие дни, отправляясь втроем на такое же расстояние, тоже увидели пять рябчиков и, направляясь в разные стороны, чтобы погнать их на одного или другого, сумели убить лишь одного, так что в результате после нескольких походов на охоту, отправляясь иногда вместе с Цирюлём в лес за дровами, пришлось мысль об охоте бросить и если когда-либо ещё собирался на охоту, то лишь потому, чтобы сделать прогулку для аппетита, забирая с собой хлеб.

Нужно сказать, что с первых же дней у меня появился ужасный аппетит к мучной пище – клёцки и блины для меня представляли наилучшее питание. Но так как в меню моего хозяина и хозяйки это было предусмотрено очень редко и считалось как дорогое кушанье, то приходилось сверх установленной платы специально заказывать на наш же счёт эти блины и клёцки. Правда, я стал понемногу поправляться, но всё же чувствовал себя очень неважно. Примерно числа двадцать пятого, двадцать шестого февраля я уже получил переведённые мне деньги, а двадцать седьмого февраля мы

имели первую телеграмму, что Николай Второй, кровавый, отрёкся от престола и на его место вступает Михаил.

Всем как-то сначала не верилось этому отречению, но к вечеру в нашу хату набралось много политических и начались горячие споры и дебаты. Громадное большинство присутствующих это отречение называли революцией. Я же с пеной у рта отстаивал, что рабочий класс и крестьянство ничего не выиграют, будет ли Николай кровавый или Михаил кровавый. Споры до того разгорелись, и люди до того озлобленно спорили, что уже за двенадцать часов ночи всё ещё никто не расходился и к нам втискивались новые и новые люди из бывших политзаключённых.

После двенадцати часов ночи свой телеграфист, прибывав с только что полученной телеграммой, сообщил дополнительные новости, что получены сведения, как будто и Михаил отрёкся от престола, что как будто власть переходит к наследнику и прочее. Дальше была приписка, что возможен переход власти в руки Государственной думы. Все сведения были очень туманны, очень неясны, непонятны и опять вызывали новые и новые споры. Люди видели в переходе власти в руки наследника, в руки, наконец, Государственной думы уже социальную революцию. Однако я и некоторые другие товарищи, которые меня поддерживали, доказывали, что это не так.

Не помню, когда были получены точные и ясные телеграммы о том, что с окраин Петрограда жёны солдат с детьми

на руках, разгромив магазины, с лозунгами «Хлеб!» и «Свобода!» направляются к центру города, разнося по дороге распределительные лавки. Получив эту телеграмму, я тут же воскликнул:

– Вот! Это начало настоящей революции!

Затем уже была пришла другая телеграмма, что властями выставлены на всех улицах, ведущих к центру города, кадры верных правительству войск, которые не должны были пропустить этих детей и жён, что эти кадры «верных» войск во многих случаях уже отказались исполнять приказы своих начальников – офицеров и что имеются случаи, когда, вместо того, чтобы стрелять в жён рабочих и детей, убивали своих же начальников. Но были и другие сведения, что стреляли по жёнам рабочих.

Тут всякий понял и осознал, что наступило время борьбы. Уже двинулся первый этап с более отдалённых мест для того, чтобы отправиться к центру России участвовать в этой борьбе. Первый этап застал меня и ряд других товарищей в довольно безвыходном положении: мы по состоянию здоровья не могли двигаться в такой далёкий путь – опять триста восемьдесят вёрст до Иркутска, чтобы не застрять в дороге. Из имеющихся одежды, обуви и денег решили, что должны помочь более здоровым.

Второй этап, который прошёл несколько дней спустя, поставил в нашем селе вопрос, что пора организовать власть и здесь. Наконец собравшись, решили, что все оставшие-

ся, хоть более слабые, должны немедленно обезоружить полицию и приступить к организации власти. Приступив к разоружению – должен сказать, что в Знаменке это произошло довольно смешно, – остатки политических, выйдя с красным знаменем на улицу, с лозунгами «Долой царское правительство», «Да здравствует рабоче-крестьянское правительство» направились к волостному исполкому, по дороге присоединялись женщины и дети, присоединялись крестьяне. Около кооперации нас встретил местный отряд полиции, состоящий из пристава, четырёх-пяти стражников, вооружённых с головы до ног. Эта кучка ещё в своих мозгах мыслила остановить революционное движение, остановить хотя бы в селе Знаменка. Не успели они опомниться, как были схвачены, обезоружены и направлены в каталажку, где несколько дней назад томились политические заключённые.

Собрав всех жителей села, сейчас же перед крестьянами поставили вопрос о необходимости немедленно организовать волостное земуправление, создать исполнительный комитет. После долгих обсуждений этот исполнительный комитет был создан из состава большинства крестьян и части политзаключённых, который со следующего дня приступил к работе. Вскрыв архив пристава и роясь в нём, мы находили много всевозможных предписаний, распоряжений по тому или иному бывшему политзаключённому. В частности, в предписании, которое было отдано обо мне, село Знаменка не было назначено моим постоянным местом жительства, а

я должен был быть отправлен ещё на несколько вёрст дальше в деревню, из которой не скоро выберешься. Несмотря, что здесь работы было по горло и что мы уже стали получать точные информации о положении дела, о борьбе петроградского пролетариата и борьбе в других городах, каждый из нас стремился вернуться к себе на родину. Однако быстрая весна и уже иссякающие средства, поделенные между «отъехавшими» и оставшимися, не позволяли выехать. Ни один из чалдонов-крестьян, видя потоки весенних вод с гор, не брался нас вести. Таким образом, приходилось ждать, пока осушатся дороги, приходилось думать о том, что необходимо будет каким-либо способом заработать деньги на обратный путь. Из моих ста двадцати девяти рублей за короткий срок у меня осталось рублей десять-пятнадцать, а добраться до Иркутска – значило иметь не меньше, чем сорок, на подводы, плюс на пропитание. Таким образом, чтобы добраться до Иркутска, надо было или ждать денег, пока пришлёт иркутский комитет, или найти работу. Так как каждую весну в селе Жигалове, в двадцати пяти верстах от Знаменки, на реке Лене производилась погрузка товаров для золотопромышленных районов Бодайбо, то мы немедленно же, набрав соответствующую партию желающих во что бы то ни стало ехать, направились туда.

Однако здесь счастье нам не улыбнулось, потому что предприниматели ещё ждали возвращения старой власти, желая эксплуатировать грузчиков, держали старые цены на

погрузку тысячи пудов. Собравшись, несколько сот политических и уголовных провели общий митинг, на котором было решено предъявить определённые требования и ни на какие уступки не идти впредь до исполнения этих требований. Всякую попытку сорвать эти требования было решено рассматривать как штрейкбрехерство и виновных к погрузке не допускать. Не помню точно, сколько мы проканителились с этим погрузочным вопросом, но не меньше недели, пока наконец, с помощью вмешательства Иркутского совета в это дело не приступили к погрузке. Потрудившись три с половиной дня и заработав восемьдесят с чем-то рублей, я и ещё шесть товарищей решили, что мы дальше не работаем, что этой суммы нам хватит на обратную дорогу, и уже договорились вернуться обратно в Знаменку, чтобы направиться в Иркутск, когда нам сообщили, что каждый из нас имеет получить от представительства Иркутского совета или исполнительного комитета, точно не помню, ещё по сорок рублей на дорогу.

Обрадовавшись такой неожиданности, сейчас же, в этот день, направились в село Знаменка. В Знаменке выяснилось, что до Иркутска тележным путём не добраться раньше пятнадцати суток, даже если ехать, не останавливаясь и не отдыхая по дороге. Так как таким путём было немислимо ехать, то, следовательно, надо было подумать о более близком пути. Не помню, к какому городу мы направились, но помню лишь одно, что мы двинулись к реке Ангаре для того, чтобы там

на пароходе отплыть в Иркутск. Этот путь, нами выбранный, оказался наиболее благоприятным, ибо на Ангаре в ожидании парохода мы простояли лишь одни сутки и, по любезности капитана корабля, были приняты на борт с представлением пятидесятипроцентной скидки на проезд. Не буду описывать всё это путешествие, ибо сейчас мне не припомнится, как каждый из нас был преисполнен радости и надежд, что скоро вернёмся в Иркутск, оттуда в Питер, что в первых числах июня уже будем в Питере, оттуда разъедемся по своим местам, приступим к кипучей, горячей работе.

В Иркутске на вокзалах висели большие плакаты, куда обращаться политическим заключённым. Оказалось, что в Иркутске существовал, не знаю чей, благотворительный комитет, где политических снабжали бельём, обувью и одеждой, предоставляли вагон для отправки в путь на Москву и другие центры. Нужно сказать, что видно было, что в этом благотворительном комитете находились люди не из рабочего класса, люди, которые решили и на обуви, одежде и кормлении возвращающихся бывших политических заключённых зарабатывать, и поэтому не только скудно давалось то, что каждому нужно было, но давалось такого качества, что иногда стыдно было принять.

Однако, не задерживаясь в Иркутске, каждый из нас стремился скорее дожидаться, когда до него дойдёт очередь садиться на поезд. Также не помню числа, но дело дошло и до моей очереди, и партия бывших политзаключённых, раз-

мещённая в двух вагонах второго класса, под руководством своих же выбранных старост, выехала по направлению к России. По дороге на разных станциях нас встречали рабочие делегации, встречали делегации крестьян, устраивались обеды, устраивались торжественные собрания, выступления, митинги, нас приглашали, отцепляя на некоторое время вагоны, посетить город, выступить на рабочих собраниях. Там, где отцепки долго нас не задерживали, мы снимались, отправлялись на фабрики и заводы, на те или иные собрания, произносили горячие речи, затем снова возвращались в свои вагоны и направлялись дальше. В Челябинске благодаря такой отцепке и прицепке к своему поезду мы не попали в аварию, так как идущий впереди нас поезд, несмотря на то, что семафор был закрыт, пошёл напролом, и первые два вагона от паровоза, на месте которых должны были быть наши вагоны, сошли с пути, разбились вдребезги; люди, которые находились там, были наполовину искалеченными, полуживыми извлечены из остатков вагонов, из-под откосов. Наш поезд, не дойдя, остановился на середине дороги, и мы все пошли туда оказывать возможную помощь пострадавшим.

Путешествие через Урал и дальше не отличалось от путешествия первых дней – те же встречи, те же выступления и прочее. Единственно, что должен отметить, это то, что местами наш поезд шёл настолько медленно, что мы могли свободно выходить из вагонов, свободно идти рядом с поездом, а иногда забежать в лес и на луг, сорвать цветов.

Между прочим, случился ещё один интересный факт, который произошёл с тремя эмигрантами, едущими с нами, которые вернулись из Америки, где пребывали в эмиграции, которым, ввиду переполненности наших двух вагонов в Иркутске, было предоставлено место в ближайшем с нами вагоне. Все они в Америке запаслись прекраснейшими чемоданами, наполненными всевозможными материалами и ценностями. Женщина, которая ехала с ними, очень невнимательно следила за тем, чтобы, выходя из вагона, закрывать купе, да и не особенно внимательно к этому делу относились её спутники, и уже до Челябинска она была обокрадена, что называется, до последней нитки. В Челябинске нам удалось, так как несколько товарищей от нас уже ушли, взять их в свои вагоны. Всю дорогу, до самого Петрограда, её спутники шутили и посмеивались над ней, что она растеряла всё приобретённое в Америке. Однако один из них – фамилии не помню, эстонец по национальности – производил на меня, грубо выражаясь, впечатление такого же растяпы, какой оказалась наша спутница.

По прибытии в Петроград нас встретили на вокзале и тут же разбили на группы, на грузовых и легковых автомобилях распределили по общежитиям. Я попал в общежитие на Каменноостровском. Зарегистрировав в этих общежитиях, опять же направили в какой-то благотворительный комитет, где нам выдали суточные и отпускали то, что некоторым не хватало и в Иркутске они не получали. Я задержался в Пе-

тербурге около месяца, так как должен был ехать в своё местечко – Руен, а оно находилось в прифронтальной полосе, и для того, чтобы выехать туда, требовалось от Керенских властей соответствующее оформление документов через штабы и прочее, необходимо было сняться, послать заявление в фронтальной штаб и получить оттуда разрешение на выезд. Пока что знакомился с Питером и его порядками. Не говоря о тех мелочах, которые происходили с нами из-за отсутствия хлеба, иногда сахара и прочих продуктов общежития, не говоря о тех экскурсиях, которые мы совершали по дворцам и достопримечательностям, а также посещая кино и театры, Народный дом и прочее, я должен сказать, что главное время уходило на постоянные митинги.

Питер в то время представлял из себя сплошной митинг.

Стоило двум заспорить на любом бульваре, на любой улице, в любом сквере между собой, излагать противоположные взгляды, как минут через пять-десять уже вокруг них собиралась толпа в пятьдесят-шестьдесят человек, слушала их, вмешивалась в разговор и задавала вопросы, уставшие ораторы заменялись новыми. Стоило только кому-либо в этих летучих митингах из представителей большевиков устать или оказаться слабее его противника – эсера, меньшевика или кадета, как уже этого большевика сзади за фалды одёргивал его товарищ, уговаривая разрешить ему говорить вместо него, когда же оказывалась противная сторона побеждённой, её заменял другой. Всё это взбудораживало,

всё это придавало новых сил и энергии, всё это заставляло вертеть мозги в определённом направлении, что борьба ещё не окончена, что хотя и пролетариатом власть вырвана у царя, она всё же оказалась в руках буржуазии и что буржуазию начали усиленно поддерживать все партии, за исключением партии большевиков. Таким образом каждый из нас осознал, что борьба ещё впереди, что, победив царскую власть, пролетариат оказался ни при чём.

Особенно знаменателен был день 18-го июня, то есть тот день, когда пролетариат Петрограда демонстрировал свой протест против Хлестакова – Керенского. С восьми часов утра уже сплошная колонна переполнила все улицы Петрограда, направляясь к Марсову полю, демонстрация сплошной колонной двигалась беспрерывно до самой поздней ночи. Произносились на остановках и перекрёстках речи, речи горячие, призывающие к дальнейшей борьбе. На Невском и ряде других мест произведено провокационное выступление для того, чтобы сорвать демонстрацию для того, чтобы устроить панику. Однако петроградский пролетариат двигался твёрдыми шагами, рука об руку, не поддаваясь этой панике и продолжая свой живой протест против Временного правительства.

Ещё замечательный был день 19-го июля, день, когда припешники и блюдолизы Временного правительства в противовес демонстрации 18-го июня демонстрировали свои силы. Как жалки и смешны были их ряды со всеми их инва-

лидными колоннами и колоннами женских батальонов — знамён оказалось больше, чем участников демонстрации. Так же жалки, как жалка эта демонстрация, были выступления их, когда в противовес им выдвинулись большевики. Лучше каждому с каждым словом, с каждой минутой, с каждым часом чувствовалось, что пролетариат осознал, что он выпустил власть из своих рук, что он должен бороться, чтобы вырвать эту власть у буржуазии и её приспешников.

Дни проходили за днями в этом бесконечном митинговании. Здесь характерно отметить такое явление: стоило появиться большевикам на каком-либо устроенном на Невском проспекте митинге, как его тут же стаскивали с трибуны, избивали и отправляли в участок для выяснения личности. Но за это было и наоборот, когда в рабочем районе появлялся кадет или эсер, который пытался доказать необходимость продолжения войны до победоносного конца, признания Временного правительства, ареста вождей большевиков как германских шпионов-предателей и прочие вещи, этим выступлениям давали отпор и с трибуны также стаскивались представители этих лжесоциалистов, лжезащитников интересов рабочего класса и крестьянства.

Примерно к середине или в последних числах июня я получил свои документы с разрешением на выезд на родину и тут же отправился немедленно на поезд.

Дома меня уже ждали, ждали как давно невиданного гостя и товарища, который поможет наладить всё не налажи-

вающееся дело, ждали для того, чтобы иметь как от более старшего товарища новые указания, как дальше повести работу. Я же ехал туда, будучи недостаточно уверен в том, что смогу там быть в передовых рядах, по той простой причине, что мне всё казалось, что я отстал от жизни, просидев эти долгие годы на каторге. По приезду оказалось наоборот, что мы, сидя в каторге и обсуждая все вопросы, хотя и не всегда получая правильную, точную информацию, всё же выросли гораздо больше, чем многие из работающих в подполье наших товарищей.

Прибыв к себе, первым делом я разыскал квартиру своей престарелой уже матери, которая от радости не знала, что делать, и тут же, в этот же день, несмотря на всю усталость, смог принять ряд делегаций и иметь с ними суждение. Побеседовал, выразив свои соображения о дальнейшей работе, я всё же предполагал, что так как организация не в состоянии оплачивать моё существование и так как я не имею никаких средств, поступить на работу там же в типографии, где я учился ещё до каторги, поступить не только наборщиком, но исполнять, если это потребуется, переплётную работу, которой я научился в шлиссельбургской каторге, и попутно заниматься общественным делом. Так я и сделал. Не отдохнув ни одного дня, тут же приступил к работе и каждый день участвовал в тех или других собраниях и заседаниях. С первых же шагов видно было, что здесь идёт различная борьба между эсерами, меньшевиками с одной стороны и больше-

виками с другой, и, что меня больше всего удивило, так это то, что организация – организация подпольная, которая работала в подполье до 1905 года, которая насчитывала до ста пятидесяти человек, в настоящее время стала меньше; меня удивило и то обстоятельство, что некоторые из моих же сопроцессников, которые уже успели прибыть сюда, не находились в партии, не подавали заявления о том, чтобы их снова зачислили, оформили их вступление и так далее.

Недели через полторы мне было предложено в нашем комитете партии быть начальником милиции в нашей местности, не знаю, по какому приказу Керенского, в это время начальники милиции не назначались, а выбирались на общих собраниях граждан, на которых участвовала не только пролетарская партия, но и партия крестьянского союза, то есть лавочников, серых баронов (кулаков) и прочих элементов. Выставили мою кандидатуру, с противоположной стороны объединённого списка эсеров и союза земельных собственников была выставлена другая кандидатура известного богача, тамошнего серого барона.

Перед самыми выборами, которые должны были провести тайным голосованием, на собрании предполагалось выступления ораторов с той и другой стороны. Каково же было моё удивление, когда наш районный партийный комитет предложил мне, в случае если будет задан вопрос – большевик ли я, ленинец или нет, этот вопрос смазать. Я от этого дела отказался и решил, что нужно идти прямым путём, не пус-

каясь ни на какие ухищрения. Спросил их предварительно, чем они мотивируют такую не прямолинейность, на что они мне ответили, что при заявлении, что я большевик-ленинец, моя кандидатура может быть провалена и на пост начальника милиции в этом районе будет избран представитель серых баронов. Не зная ещё всех новых ребят, которые вступили за моё отсутствие в партию, не зная также настроения рабочих кустарей и служащих, которые должны были участвовать на этом выборном собрании, я всё же решил идти прямым путём, о чём и заявил.

В назначенный день собрание было на открытом воздухе около здания Торнейского волисполкома советов. Ораторы говорили горячие речи, каждый доказывал, что необходимо быть честным, добросовестным, отражающим интересы того или другого класса представителем. Причём представитель объединённого блока меньшевиков, эсеров и серых баронов стремился доказать, что необходимо выставить кандидата более нейтрального, отражающего общие интересы. Наконец дело дошло до вопроса, чтобы выступили сами кандидаты, и чтобы каждый назвал, каких взглядов он придерживается, причём со стороны противоположного блока было предложено мне стать на трибуну и сказать – большевик ли я, ленинец или нет. На это я ответил, что пусть говорит их кандидат, пусть скажет, кто он и что он, и я не постесняюсь сказать, кто я. Выступивший представитель, со слащавой улыбкой обращаясь не к делегатам товарищам, а к

господам, выставил себя как всем известного, работающего на общественном поприще в земельном обществе «Крестьянин», пытался доказать всячески, что единственная подходящая кандидатура – это его.

Моё появление на трибуне было встречено не особенно большими аплодисментами, и тут же я поспешил ответить на заданный мне вопрос – большевик ли я, ленинец или кто другой. Я ответил, что я большевик-ленинец и что всякий, кому памятен 1905 год, памятна борьба рабочего класса и крестьян за освобождение от ига капитала, тот должен знать, где были серые бароны в это время, как вели себя меньшевики и эсеры, продавая тогда наше революционное движение и уже в начале декабря отступая от занятых ими предварительных позиций. Я указывал на противников – крикунов, которые тут же пытались мешать мне своими выкриками, называя их по фамилии, назвал, кто они такие, кто лавочник, кто серый барон и прочие и как они эксплуатировали своих же подчинённых. Минута за минутой овладевал аудиторией, постепенно выкрики и прочее, мешающие говорить, смолкали, и под конец моей речи осталась незначительная кучка самых ярых монархистов, которые, идя в блоке с меньшевиками, пытались всё же отстоять свою кандидатуру. Однако при тайном голосовании подсчёт голосов уже к вечеру показал, что с каждой минутой вынутые и вскрытые записки за того или иного кандидата говорили всё больше и больше в мою пользу, и в результате окончательного подсчёта в комиссии,

куда были введены представители всех партий и групп, оказалось, что я получил 4/5 всех поданных голосов.

Таким образом я приступил к исполнению своих обязанностей начальника милиции; через несколько дней был введён в состав исполкома совета и закипела работа.